

Владимир Старателев

ТАИНСТВО В КРУГЕ

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ



Кострома, 1999 г.



Владимир Михайлович Старателев, член Союза писателей России, живет в Костроме. Автор книг «Ничья, равная победа», «Еду к Варе». К 60-летию писателя переизданы рассказы для детей - сборник «Родственная душа». Композитор, автор романсов и песен на стихи классиков и современных поэтов.



АККОРДЕОНИСТ

Поселок после войны заселился быстро: уцелели каменные дома, из которых он состоял. Заселяли плотно, в каждой комнате по семье. Хотели отдать под жилье и длинный деревянный барак, приспособленный немцами под конюшню, но молодой председатель поссовета, только что демобилизованный сержант Гренъ, отстоял его под клуб.

Из армии сержант привез «сверхзадачу» — словечко, которым отныне приправлял свою речь. Не забыл он и местное «скобарь»; им поселковые награждали пришлых людей, подчеркивая их косность и невежество (а вообще так называли псковских крестьян, привозивших когда-то в Петербург скобы). Эти два словечка нередко у Греня соединялись: «Ты понял сверхзадачу, «скобарь»?», или что-то в этом роде, и никто на Греня не обижался, по причине его бьющей через край веселости, армейской выпреки и сверкающей на груди медали «За боевые заслуги».

Парни и девчата, узнав от никогда не унывающего председателя поссовета, что барак принадлежит им и они могут делать с ним все, что захотят, горячо принялись за дело. Вычистили грязь, побелили потолки, покрасили полы, стены, и помещение стало вполне приглядным. Снаружи пристроили крыльцо из свежеструганных сосновых досок, и в темноте оно белело и притягивало к себе. Председатель отдал единственное свое богатство — патефон с пластинками, и по воскресеньям молодежь наслаждалась танцами.

Что это были за вечера? Горели развесанные по стенам керосиновые лампы, потому что электричество еще не подвели, за перегородкой, у зеркала, попискивали, переобуваясь, девушки, а парни, оправляя под ремнями гимнастерки,

важно дымили на крыльце; Грень выпроваживал не по возрасту заскочивших юнцов, накидывал на дверь крючок и пускал патефон. «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?» — звучал ласковый голос, и все приходило в движение. Танцевали тихо, не разговаривая, чтоб не заглушить музыку, но истово и на расстоянии друг от друга, кавалеры провожали дам до места, отвешивая поклоны. Бывало, наступали на ногу или стукались плечами — тут же чистосердечно извинялись. Никто не насаждал этих правил, они возникли сами, а чтоб кто-то лузгал семечки или приходил выпивши — это из ряда вон, это просто исключалось. Женский смех витал в крашеном дощатом бараке; среди парней было много смешливых, а среди девушек немало хохотушек, и этот молодой, счастливый смех, по которому все истосковались, был главным действующим лицом «керосиновых» вечеров.

В хорошо отлаженном механизме этих вечеров скоро появились первые сбои. Стал отказывать патефон. Иногда пластинка просто хрюпела, и невозможно было понять, что на ней, но чаще диск крутился на месте, бессмысленно повторяя один и тот же музыкальный тakt. Пластинку снимали, наступала тишина, и тогда среди танцующих стихийно запевались только что услышанные по радио песни. Но некому было поддержать, не хватало музыканта.

Мысль о том, что нужен аккордеонист (а потому аккордеонист, что в поселке появилось несколько трофеиных аккордеонов), привела танцующих к обладателю одного из них, Константину Денисенко. Этими танцующими были две девушки: одна — подружка Грена, другая — самого Константина, или Котьки, как все его называли. Котька больше других подавал надежды в овладении музыкальным инструментом, потому что купил его на барахолке за свои кровные, в то время как остальные привезли из Германии для красы.

Котька, молодой честолюбивый парень, хорошо зарабывал и многие из своих задумок сумел осуществить. К ним относились хромовые сапоги, синие галифе и серый пиджак внакидку. Но все это богатство ждало своего часа, оно могло сочетаться только с ослепительно-белым перламутровым аккордеоном, без которого Денисенко решил не появляться в клубе. Вот уже полгода прошло, как начались танцы, а Котька терпеливо зудил несколько мелодий, намереваясь появиться во всем блеске и разом завоевать поселок.

Котькина мечта натыкалась на непреодолимую преграду. Его выводил из себя первый же намеченный им вальс. Он уже и правую руку выучил, и левой на басах мог отдельно сыграть, а соединить обе руки никак не удавалось. Котька

и языком, и глазами себе помогает, и лицо от напряжения исказится до неузнаваемости, а дальше первого такта дело нейдет. Когда человек, к примеру, говорит, он может паузу сделать между словами и даже затянуть эту паузу нечленораздельным мычанием, подыскивая посвежее слова, а тут — музыка, она — как вода в реке, попробуй останови. Котька иногда сравнивал ее с мотком изоленты (он работал электриком): как начал разматывать — так и дуй до конца.

Временами у Котьки появлялось желание хватить аккордеон окованный материн сундук, но жаль было дорогую вещь. «Не расстраивайся, еще получится, — с такими словами ввалились к нему однажды девчата, шугнув от двери прилипшего к ней соседского мальчишку Вольку (рядом жила большая семья Родионовых), — но и сам понимаешь: ждать долго... Месяц сроку, и вешаем афишу: танцы под аккордеон». Котька кисло улыбнулся. Но девчата приободрили: «Если потребуется, привезем самоучитель из райцентра».

Грень, не менее других заинтересованный в поселковом музыканте, шел как-то мимо Котькиного окна и, услыхав звуки аккордеона, решил заглянуть на огонек. Еще в прихожей он узнал мелодию вальса «Над волнами», которую кто-то совсем тихо, но уверенно выводил. Нажал было на дверь в Котькину комнату, но та не поддалась. И тогда, решив, что Денисенко запирается от посторонних глаз, он тихонько, на цыпочках вышел на улицу. ««Скобарь», а может, — крякнул довольный председатель, — значит, не миновать афиши, а там и сверхзадачи — на свадьбе у меня сыграет». И сержант запаса придилично осмотрел шинель, которую пора было менять на пальто; с приобретением пальто связывал Грень начало семейной жизни.

Пришла с самоучителем Котькина подружка; когда за Котькиной дверью раздались звуки польки-бабочки, она от удивления замахала ресницами: «Зачем ему самоучитель? У него и так получается». Подергала дверь, чтобы поздравить музыканта, но Котька почему-то смолк и не отпирал, лишь у соседей через какое-то время стали отшлепывать Вольку за грязные штаны: «Будешь у меня землю носить, тихоня!»

Появление афиши равносильно было для Денисенки удару под дых. Он стоял у клуба, где ее вывесили, и не знал, что предпринять. Хорошо еще, не написали его фамилию, а то бы он сорвал. Но все равно надо было спасаться от позора.

Это оказалось не так-то просто. Грень не верил, что Котька не выучился, потому что своими ушами слышал его, Котькину, игру. Он так и сказал: «Не набивай себе цену». Подружка, до которой Котька мигом добежал, верила и не

верила. Она припомнила день, когда оставила в ручке две-ри свернутый трубочкой самоучитель... Котька стал божиться, что работал в вечернюю смену, хоть завтра справку принесет. И он действительно принес справку, а афишу так и не сняли.

В день позора Денисенко решил, никому не говоря, бежать из поселка. И он бы так и сделал, если бы ему самому не довелось услышать звуки собственного аккордеона из-за закрытой им только что двери. Это было невероятно. Котька вернулся за оставленным в спецовке пропуском, и вдруг его пригвоздила к полу мелодия песни «Он хорошим парнем называется», над которой он, Котька бился, все утро впустую. Мелодия звучала хоть и неровно, но без остановок, словно аккордеон решил позабавиться в отсутствие хозяина, а заодно и посмеяться над ним. С бьющимся сердцем вышел Денисенко из подъезда и, подтянувшись на руках, заглянул в окно. В сумерках он различил склонившийся к клaviатуре мальчишеский стриженый затылок и большие оттопыренные уши. Пораженный, он захотел проверить еще одну свою догадку, для чего, вернувшись, долго гремел ключом в замке. Как и следовало ожидать, в комнате никого не оказалось, а перламутровое сокровище по-коилось на законном своем месте — диване.

Теперь Константину легко было доказать, что он не аккордеонист, а всего лишь обладатель музыкального инструмента. Вечером он собрал в своей комнате председателя посовета, знакомых подружек. Гости были заинтригованы, но терпеливо ждали. Пошли к Родионовым.

— Так, Волька, — положил Денисенко руку на затылок мальчику, — покажи-ка, как ты пробираешься в мою комнату?

Волька посмотрел на «дядю Костю». Он не сразу понял, о чем его спрашивают. Это был маленького роста худосочный мальчик с тонкой шеей и отдающим синевой лицом; чем-то он напоминал проросший росток в погребе. Сразу было видно, что он недоедает, игрушек у него нет и донашивается он одежду старших. Запоминающимися были только его блестящие карие глаза, они смотрели пытливо и дерзко и в то же время как бы внутрь себя; там, внутри, происходила скрытая от посторонних глаз работа. Когда он услышал вторично обращенный к нему вопрос, глаза его потухли.

— Украд, говори! — крикнула, идя из кухни, тетя Фрося, мать Вольки, худая, жилистая женщина с красным изможденным лицом и такими же красными руками (она работала уборщицей). В голосе ее послышалась угроза. Мальчик поступился.

Константин, видя, что пауза затягивается, а собравшимся по-прежнему ничего не ясно, сам проделал путь, который постоянно совершал Волька: открыл подполье у Родионовых, нырнул в него и через минуту отряхивал коленки у себя в комнате, демонстрируя жестами благополучный выход из собственного подполья.

— Затем Волька берет... — довольный произведенным эффектом, сказал Денисенко, и присутствующие, кроме тети Фроси, которая все еще подозревала сына, посмотрели на Вольку с затаенным любопытством.

...Мальчик какое-то время колебался. Но вот глаза его потеплели, и, подталкиваемый взрослыми, он взял аккордеон в руки. Заплечные ремни оказались предусмотрительно подогнанными, это добавило ему решимости. Он привык, что аккордеон висит далеко внизу, а тут клавиатура оказалась под рукой. Зазвучал вальс Вайдтефеля. Мальчик не знал имени композитора и ни от кого, кроме Котьки, этого вальса не слышал, и потому играл мелодию с теми же ошибками, что и его невольный учитель. Но слушатели были до того изумлены, что не заметили их. В поселке игра на музыкальном инструменте считалась величайшей сложностью, верхом того, что может достичь человек, а тут пацан, да еще без всяких усилий, да еще стоя за дверью...

— А я-то думаю, почто у него коленки в земле! — растерянно воскликнула тетя Фрося, но приблизиться к сыну не посмела.

Волька, чувствуя, что мать отошла и порки не будет, сыграл польку-бабочку и только что появившуюся песню «Он хорошим парнем называется». Девчата подхватили мотив, а закончили уже не глядя на Вольку, пожирая от счастья глазами друг друга. Что творилось после в маленькой комнате, трудно описать. Объятия, тисканье, прыжки... Вольке дали кусок сахара. Тетя Фрося неожиданно заплакала. Ее стали успокаивать. «Отец не видит!» — нервно выкрикнула она (отец Родионовых не вернулся с войны). Мужчины от волнения закурили. Пришли с улицы Волькины сестренки-близнецы, а потом вошел и самый старший Волькин брат — Юра, кормилец и помощник матери. Он один не удивился, потому что знал о Волькиных проделках. И уж совсем мрачной вошла мать Константина Денисенко, не любившая сборищ и веселья, связывавшихся у нее в сознании с пустой тратой времени и денег.

Стали прощаться. «Спасибо за ученика, — жал руку Константину довольный Грень, — хотя и скажу тебе откровенно: сверхзадачу ты задал. Но, я думаю, ты не откажешься

побыть в роли учителя и дальше?» Девчата смотрели на Котьку влюбленными глазами. Котька, не ожидавший такого поворота, кивнул. «В таком случае танцы состоятся при любой погоде!» — подвел итог сержант запаса, он же хитроумный председатель поселкового совета. Вот при каких обстоятельствах появился в клубе Константин Денисенко. Появился при полном параде и с аккордеоном в руках, на котором должен был играть семилетний мальчик Волька Родионов.

Весть эта облетела поселок в два счета, вызвав различные толки. Молоденькая Волькина учительница сгоряча высказалась против. На танцы она ходить стеснялась, но вот в поселок приехал молодой инженер... Греня пообещал, что на первых порах мальчик будет играть недолго, и учительница сдалась. Потом испугалась за сына тетя Фрося: а вдруг кровь пойдет из носа? Решили установить входную плату, правда, символическую. А что? Игра на танцах — труд, и нет ничего зазорного в том, что он оплачивается. Тетю Фросю этот довод-таки сразил. Теперь перед ней встал вопрос: во что одеть мальчишку? В школу он бегал в рейтузах с лямками крест-накрест и самодельных бурках, а в клуб? Ничего она не могла придумать: так и пошел Волька в рейтузах с лямками крест-накрест, самодельных бурках и прикрученных к ним новых галошах.

Мальчик играл. Он сидел на небольшом, специально склоненном для него помосте, но в зал не смотрел; его глаза были прикованы к клавишам. Играли он неровно. Временами, забывшись, сильно растягивал меха, а чтобы свести их, ему приходилось останавливаться. Шарканье подошв затихало, мальчик бросал растерянный взгляд в зал. Справившись с затруднением, он несмело поднимал длинные ресницы и прислушивался: как там дяди и тети? Подошвы опять принимались за свое: он успокаивался. Были остановки у него и по причине, что одна рука опережала другую. Чуткое ухо мгновенно улавливало фальшив и обрывало игру. Аккордеон был велик, он лежал плашмя, и мальчик не сразу догадался при игре хотя бы немного помочь себе коленями. Сыграв все, что знал, Волька положил инструмент и бочком, вдоль стенки направился в раздевалку. У него это получилось инстинктивно, он не знал, куда и зачем идет. Увидев плотно висящий косяк пальто и шинелей, он нырнула в его сердцевину и затих.

Зал безропотно принял паузу. Каждый жалел мальчишку на свой лад. Но еще сильней хотелось танцевать, сейчас, здесь, при мерцающем свете и пустом желудке, танцевать много, долго, с наслаждением, с какими угодно паузами и остановками, но только танцевать и танцевать, касаясь любимого

или любимой. Танцы нельзя было отменить, как нельзя отменить жизнь, и потому зал ждал возвращения Вольки. Ждал и не заводил приготовленного на всякий случай патефона.

Лишь один человек не ждал. Едва сдерживал он себя, чтобы не схватить аккордеон и не драпануть с ним из клуба без оглядки. Ох, не знал он себя, не знал! Прикипел он, оказывается, к своему перламутру, так прикипел, что не в силах видеть, как к нему прикасаются чужие руки. Да, чужие! И хорошо, что у заморыша ничего не получается. Побыстрей бы все это поняли. Мало дело. Мало и глупо. Коты хотел было забрать аккордеон, не предупредив об этом председателя поссовета, но в это время в зал, стыдливо пригибаясь, вошла Волькина мать в черной бархатной жилетке, оттенявшей ее свекольное лицо, а за ней с высоком поднятой головой — Волькина учительница в модном черном пальто с лисьим воротником. Тетя Фрося села напротив помоста и сняла пуховый платок, а учительница прошла в раздевалку. Константин решил повременить. До полного Волькиного провала осталось недолго.

Мальчик появился бесшумно, забрался на стул и вновь заиграл. Он волчонком смотрел в зал и не сбивался. Неуловимая перемена произошла в нем. В горячее крепдешиновое кольцо взяли его в раздевалке девчата: гладили по голове, целовали в щеки, обдавая запахом цветочных духов, и кормили, кормили без устали соевыми конфетами. Вольку за его недолгую жизнь никто так не баловал, и потому глазенки мальчишки разгорелись.

После вальса раздались аплодисменты. А после краковяка началось нечто невообразимое: музыка кончилась, а пары все выделывали па, не в силах остановиться. Волька поддержал порыв взрослых, и веселье разгорелось с новой силой. Пламя в керосиновых лампах стало подрагивать, но на это обратила внимание лишь тетя Фрося.

Танцевали все. Много позже, когда построят клуб и заведут оркестр, при звуках краковяка или молдавеняски парни сворачивали к выходу, опуская руку в карман за папиросой, а сейчас они были в центре, прыгали и трясли чубами. И председатель поссовета, и инженер в паре с учительницей, и Волькин брат Юра, завернувший в клуб прямо с работы, и Денисенко, нервы которого не выдержали. Кончилось тем, что запели новую песню про Индонезию, мотив которой Волька успел перенять от девчат в раздевалке. «Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая...» — качались пары в мерцающем свете, не желая расходиться, и так хорошо щемило у многих в груди, такое редкое единение испытывали танцующие оттого, что проклятая

война позади и можно безоглядно, бестревожно любить, в том числе и жаркую, прекрасную Индонезию — что хотелось плакать.

Вольку в конце концов качнули на глазах испуганной матери. Это могло означать только одно: родился в поселке аккордеонист, пусть маленький, но свой. И был такой момент, когда Котька, подняв аккордеон над головой, дал понять, что он совершил сейчас из ряда вон выходящий поступок, поступок, о котором будут говорить долгие годы, тот, редкий, что впишется золотыми буквами в историю поселка... Нет, показалось. Котька так высоко поднял первомутровый ящик, чтобы не повредить случайно, при возможном столкновении, пока он пробирается к выходу. И он пробрался без осложнений. Котькина подружка, взяв его под руку, защебетала на улице о том, что хорошо бы подарить аккордеон Вольке, и народ так подумал, глядя на Котьку, но от этих слов Котька прямо-таки взбесился.

— Дунька! — прокричал он ей в самое ухо. — И не лешишься!

Подружка вспыхнула и повернула назад.

Юра Родионов нес героя вечера на плечах, а мать, шагая сзади, пересчитывала впопыхах деньги, которые ей вручил председатель.

— На буханку хватит, — восторгалась она, — ай да Вольшка, ай да работничек!

— Учиться ему надо, — сердито басил Юра, — я слышал, в городе есть школа для таких, и на всем готовом.

Мать не возражала; она понимала, что старший сын прав и надо смотреть вперед, но не хотела расстаться с чудом, совершившимся на ее глазах: младшенький стал зарабатывать на хлеб.

...Слухи о необычном аккордеонисте распространились по окрестным деревням и дошли до станции. В очередное воскресенье клуб был полон: из деревень пришли в чесанках, а со станции приехали в открытом грузовике. Юра Родионов стоял на контроле. Когда его спрашивали, до какого часа будут танцы, он весело отвечал: «До упаду», — имея в виду паденье братишк на случай усталости. Волька, закутанный в платок, приехал на закорках у матери; стали ждать Константина Денисенко с аккордеоном.

Первым забеспокоился Грень. Получив от тети Фроси известие, что Денисенки подпольный лаз заколотили, мальчишку к себе непускают и вообще держатся особняком, даже керосинку забрали в комнату, дабы не выходить на кухню, он, не снимая шинели, побежал в нужном направлении.

— Я сказала Фроське, и пусть она не прикидывается, — встретила его Котькина мать.

— Что именно?

— Вещь дорогая, и таскать ее по клубам не дам. Пусть Родионовы свой покупают, если им приспичило. Котька не доедал, недосыпал, на двух работах вкалывал.

— Да я этих аккордеонов в Германии...

— И вез бы. Умные люди хотя б по штуке, да взяли.

— Ну сверхзадача, мать: народ собрался.

— А он и завтра собирается, и послезавтра.

— Где Котька?

— А я знаю? Он молодой.

Грень, в сердцах хлопнув дверью, заметался по поселку. С большими оговорками, всего только на вечер ему уступили аккордеон в одной семье, и Волька, не мешкая, принялся за дело.

Грень после больших затрат нервной энергии курил, стоя на крыльце в расстегнутой шинели. Юра Родионов смотрел в его спину благодарными глазами. «Иди, танцуй!» — не обворачиваясь, сказал председатель, и Юра, как норовистый конь, скакнул навстречу поглотившему его теплому людскому комку. «Ну «скобари», ну «скобари»», — ругал Грень поселковых обладателей музыкальных инструментов, что означало у него высшую степень недовольства, которая только существовала. Он долго кипел, не зная, на ком бы сорвать злость, пока к клубу не подкатил щегольски одетый молодой человек в хромовых сапогах и синих галифе.

— Представитель жалкого племени, — потер руки счастливый Грень, — тебя-то мне и не хватало!

После выяснения отношений, во время которых Грень натолкал Котьке снега под рубашку и изрядно помял его за крыльцом, в морозной тишине прозвучало:

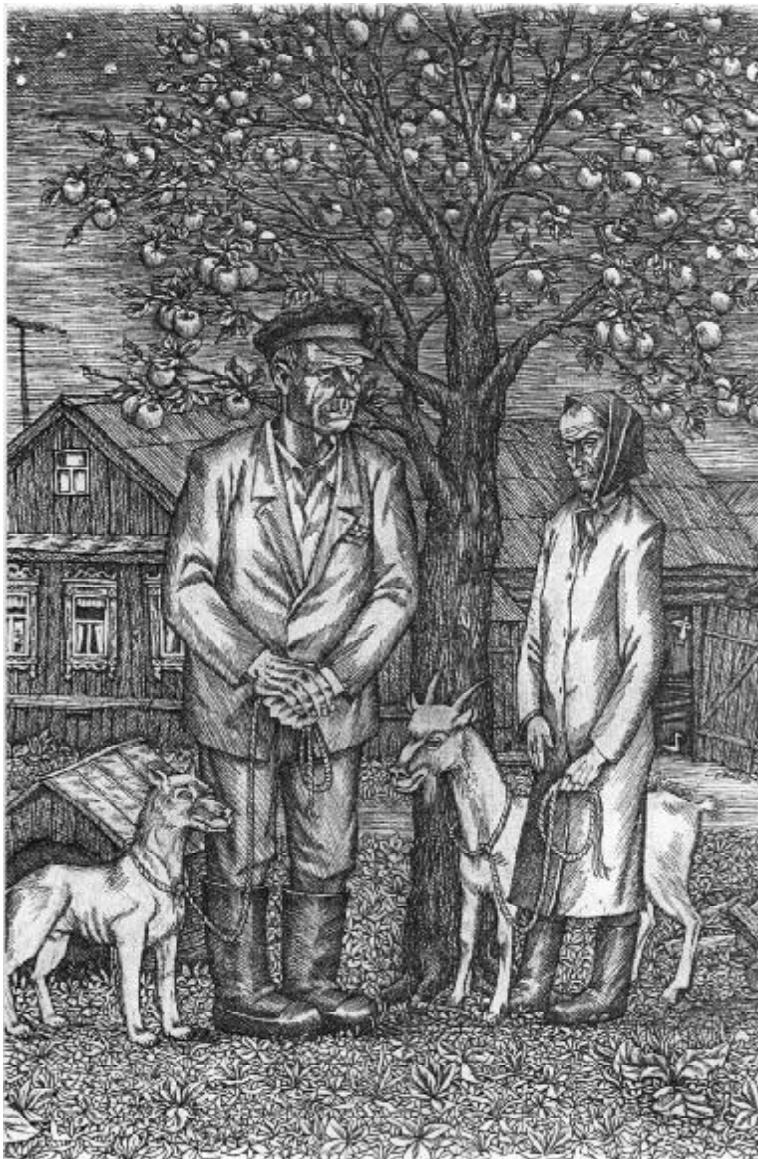
— Ни за так, ни за деньги ты, дорогой дружок, в клуб не пройдешь. И благодаря судьбу за столь мягкое наказание.

— Пойми, сержант, — отряхивался Денисенко, — мне не жаль «ящика», мать не дает.

— Котька-Котька, — укоризненно качал головой председатель поссовета, — у тебя была такая возможность... Нет, ты представь: мальчонка пробирается в темном подполье по грязной картошке... Все великое рождается из грязи, понял ли?

Грень взошел на крыльце и, перед тем как набросить крючок, заключил:

— Да неужели мы допустим, чтобы Волька... Да я лучше без пальто останусь... Сейчас пойду с шапкой по кругу, и народ скажет свое слово. Вот увидишь.



В оформлении книги использована графика художника Александра Мариева.

Композиция книги — Михаил Базанков.



ФАЛЬШИВАЯ НОТА

В школе ожидался прием в пионеры. Долго жили без пионервожатой, наконец ее прислали, маленькую, с волевым старым лицом и детским звонким голосом. Среди школьников ее легко можно было отыскать по этому голосу.

Прием ожидался массовый, со второго по четвертый классы, и за короткий срок надо было успеть привести ребят к единому знаменателю: форме, строю, песне.

Со строем быстро получилось. Под звуки горна и барабана ребята шагали с удовольствием, они еще жили войной, недавно окончившейся.

С формой вышла заминка, но поселок напрягся. Рубашки и блузы должны быть белыми, а брюки и юбки — черными, иначе, как сказала пионервожатая Аля, нечего и думать о приеме. Перешивали отцовское, дедовское... Портнихи обогатились кто связкой лука, кто мешком картошки, кто обещанием того и другого.

С песней стало ясно задолго до появления пионервожатой. Признанный поселковый музыкант, ученик второго класса Волька Родионов, мог сыграть любую мелодию, и аккордеон, пожалуйста, хоть сейчас бери в клубе. Клуб отныне располагал такой возможностью. Оставалось назвать песню, и Аля, как только приехала, тут же пропела ее — зажигательную, всем понравившуюся:

Ой, ты лети, лети, моя машина,
Ой, как много вертится колес!
Ах, какая чудная картина,
Когда по рельсам мчится паровоз!

Сначала Волька прошел ее с Алей. Мелодию он запомнил, что называется, с лета, и даже не потребовалось времени

на обкатку. Поэтому, не мешкая, собрали хор. Хор запел, но... оказалось, что голоса ребят не совпадают с Алиным: у нее слишком высокий, а у них — низкие и вообще какие-то неопределенные. Гудят, как осы. Волька, лихорадочно ощущая клавиши и кнопки, пытался перестроиться, но с ходу не получилось, а надо было с ходу. Аля сказала:

— А говорили: талант, талант... Сдай баян и не показывайся!

Волька покраснел и тихонько вышел. Аккордеон марки «Красный партизан», и без того тяжелый, притянул мальчишку к земле. У ближайшего сарая Волька снял его и положил на мокрую траву. Домой не хотелось. Не зная, что делать, Волька вскарабкался в темноте на крышу сарая, переполошив кур. Долго они кудахтали, но потом угомонились. Лишь петушок недовольно свербел, ощущая человека над головой.

В конце сентября становится прохладно, и жизнь в поселке замирает. Кartoшка выкопана, сено заготовлено. Темнеет рано, народ сидит по домам и ждет снега. Лишь со станции грузовик или мотоцикл проедет, да ребята, как сейчас, с криками выбегут из школы, и опять стихает.

В воображении мальчика рисовалась одна и та же картина: как пионервожатая подходит к нему, ласково гладит по головке. «Не торопись, — говорит она, — мы подождем. Я сама виновата: не сообразила проверить голоса у ребят». И оттого, что она говорит правду, Вольке делается легко; он первым делом подбирает басы, а потом и голоса на клавиатуре. До сих пор ему не приходилось менять то, что называется тональностью. На танцах в клубе с какой ноты начнешь вальс или польку — с той и ладно, а человеческий голос, оказывается, имеет пределы, и надо подлаживаться под него, а не наоборот.

Аккордеон тускло отсвечивал, звал к себе, и пророгший малчик не выдержал, спрыгнул. В душе его, так уж она была устроена, не шевельнулось чувство мести к вожатой. Не подкарауливал он ее мысленно в темном подъезде, не совал кнопку в туфлю, не пачкал спину мелом, а просто увидел такой, какой хотел увидеть: доброй и отважной. Образ этот возник у него задолго до появления Али и был таким стойким, что даже она не смогла его разрушить.

Мать Вольки, тетя Фрося, не заметила угнетенности в сыне. Она дошивала ему рубашку и, как только он появился, приставила обнову к спине.

— Ну вот, — произнесла она, — теперь хоть куда!

Волька был на редкость молчалив и только тогда отвечал, когда кто-нибудь угадывал его состояние. Мать часто не могла понять, о чем он думает, а тем более мечтает, и в этот раз взгляд ее упал прежде всего на «казенную вещь», как она называла аккордеон. «Казенная вещь» оказалась со следами грязи, и на Вольку тут же обрушился поток браны, перемежаемый шлепками. Мальчик воспринял порку как облегчение, на душе у него посветлело, и вот он уже прижался к матери так сильно, что рука у той невольно остановилась.

— Будет, будет, — сказала мать, предполагая, что он раскаивается, но, когда увидела на лице сына улыбку, добавила: ... проказник, — подозревая, что тот слишком хитер для своих лет.

Но этого не было, просто мальчик зажил обычной своей внутренней жизнью, а музыканты, как мы знаем, живут звуками. Бывают музыканты, которые способны освобождаться от звуков, и тогда они ничем не отличаются от здравых, рассудительных людей. Но есть переполненные звуками настолько, что не в силах от них освободиться. Внутри таких поет и поет нескончаемая мелодия: едва умолкнет одна, как подступает другая. Это — настоящие музыканты. Несчастные люди. В практической жизни они беспомощны, потому что доверчивы, их легко обмануть. Они не умеют ловчить, подлизываться, делать карьеру, их быт достоин анекдота, а рассуждения, хоть и искренние, недалеко отстоят от мыслей ребенка. Но вот... смычок коснулся струн или пальцы — клавиш, и все встало на место. Наверное, Волька был из этой породы, потому что молчавший прежде мир зазвучал для него, расцвел, и руки сами потянулись к аккордеону. И песенка про паровоз в той тональности, в которой нужно, тут же вылетела из-под его пальцев.

— Хорошая песня, — согласилась мать, признавая за сыном право жить по-своему. — За такую песню тебе первому — галстук.

На другой день, когда Волька пришел на репетицию без аккордеона, Аля накинулась на него:

— Опять срываешь, Родионов? Что ж нам, по-твоему, под «сухую» петь?

В глубине комнаты возле круглой голландской печки отогревал руки председатель поссовета Грень. Он зашел посмотреть, как идет подготовка к приему в пионеры, и попал на репетицию хора. Грень укоризненно взглянул на Вольку — зазнался, мол, парень, а Волька, не мигая, смот-

рел на вожатую, которая, тоже не мигая, смотрела на него. Это длилось до тех пор, пока ребята не подтолкнули Вольку к двери.

... Однажды старший брат Юра собрался по грибы и взял Вольку с собой. Юра знал, на что идет: в лесу еще оставались мины. Саперы прошли с металлическими палками и наушниками, но грибники продолжали подрываться. Юре очень хотелось грибов: в конце июля есть было нечего, так хоть грибов нажарить.

Грибы попадались старшему брату, а Вольке надоело за ним тащиться, хотелось найти свой. Заметив красное пятно в сторонке, он тайком от Юры сделал несколько шагов и вдруг почувствовал, как нога уперлась во что-то твердое. Раздвинув стебли папоротника, Волька увидел широкую серую кастрюлю с крышкой и двумя ручками. Этой умытой росой кастрюлей с прилипшими к ней листочками Волька и решил заняться, красавец-подосиновик подождет.

— Назад! — раздался истошный крик, и тотчас зазвенело в ушах от горячей оплеухи.

Плачущий Волька оказался под мышкой у Юры, удирающего из леса во весь дух. Так и не понял Волька, почему ту кастрюлю нельзя было трогать.

Ощущение, что она только с виду хорошая, а внутри — нет, вспомнилось ему, когда он посмотрел в глубину Алиных неподвижных глаз.

Грибное воспоминание мелькнуло у мальчика в доли секунды. Испугавшись, он постарался отмести его и забыть. И это ему удалось, потому что Аля с такой удалью дирижировала хором, а поселковые ребята так старались, что не было никакого сомнения: в счастливое будущее они въедут на паровозе и непременно с Алей. Ведь есть же люди, рожденные для больших дел, есть!

К праздничному дню полы в школе отскобили до белой древесины, а парты, наоборот, насмолили до черноты. Ребята тоже ходили в черно-белом, ожидая, когда начнется главное. Две молоденькие учительницы и несколько подошедших родительниц сгрудились возле печки. После слов торжественного обещания, которые ребята с чувством повторили вслед за Алей, предстояла маршировка и песня. Волька замер посредине первой шеренги с аккордеоном на груди, время от времени ощупывая клавишу, с которой ему придется начать. Ребята вели себя так тихо, что он не решался развести меха и проверить, те ли кнопки он подготовил для левой руки. Но напрасно он беспокоился, ему не придется сыграть.

Аля вышла с кипой галстуков на сгибе локтя и вызывала лучшую ученицу, продемонстрировав на ней, как завязывается галстук, как расправляются складки. Ученица, бесконечно влюбленная в Алю, улыбалась пунцовыми щеками. Еще несколько девочек были вызваны на середину зала, и теперь их щеки соперничали по цвету с заветными галстуками, а потом Аля поделила кипу, и девочки пошли по рядам множить радость. Шелест материи, легкий переступок обуви, непроизвольный смех...

Аккордеон был большой, и лучшая ученица примерилась к Вольке сначала с левой стороны, потом с правой... Никак. Никак не дотянуться до Волькиной шеи. Далеко шея. На аккордеон галстук не повяжешь, а к шее не подступиться. Можно, проявив смекалку, подойти сзади, но лучшая ученица со словами «оставайся с этой бандурой» махнула на Вольку рукой, как делала Аля, и прошла дальше. Остальные, особенно девчонки, услужливо вытягивали шеи. Раздалась команда подравняться в затылок. Волька все еще надеялся, что взрослые заметят и исправят ошибку, но аккордеон цепко держал его тайну. Не видно было из-за него — с галстуком Волька или без. Волькин галстук повязали Але. Она, не скрывая радости, показала на него учительницам.

— Лишний! Обсчитались!

Ребята уже маршировали под звуки барабана, и тут Але пришла идея объединить маршировку и песню. Она звонко выкрикнула:

— Песню, Родионов!

Возникло легкое замешательство, потому что Волька, оставил аккордеон прямо на полу, неверной походкой вышел в дверь. Аля, испепелив его спину взглядом, запела высоким резким голосом. Хор подхватил тоном ниже, и эта какофония оказалась единственной осечкой, не приведшей к общему знаменателю. Все остальное получилось.

Тетя Фрося отнесла аккордеон в клуб, где и пожаловалась председателю поссовета, что мальца не приняли в пионеры.

— Как не приняли? — изумился Грень.

— Без галстука пришел, — пояснила Волькина мать.

— Как же так? Торжественное обещание он давал?

Тетя Фрося разверла руками, мол, откуда я знаю, как у них там, но без галстука, значит... Пионервожатая, которую Грень тут же разыскал, дала ему такой отлуп, которого он, признаться, не ожидал:

— И правильно сделали! Ни рыба ни мясо ваш баянист, — таким в наших рядах не место!

Грень заметил ей, что пристрастие отдельных людей к большой показухе ни к чему хорошему не приводит, на что получил еще более четкий ответ:

— С вами разберутся соответствующие органы. Не здесь и не мне вы ответите за мальчишку, которого испортили танцульками.

— На мальчишке ты и срезалась, пигалица! — взорвался Грень. — Он-то и увидел, что ты насквозь фальшивая, не своим голосом поешь!

Грень возвратился с галстуком, который сорвал с Алиной шеи, но Волька никогда его не носил. Зато ему часто снился сон, в котором его принимают в пионеры по-настоящему, по-честному, и всегда улыбался в том сне, ощущая прикосновение красного шелка, прохладное, чистое и возышенненое.





«МНЕ БЕСКОНЕЧНО ЖАЛЬ...»

Юра Родионов нервничал.

Задуманное не то чтобы не получалось, а шло как у всех. А Юре страшно не хотелось, чтобы как у всех. Дело в том, что Юре стукнуло пятьдесят, и как ни противился он (отмечать — не отмечать?) этому малозначащему, с его точки зрения, событию, цифра, однако ж, круглая.

Будучи скромным, Юра привык заботиться о других: о матери, о сестренках, о маленьком братишке, игравшем когда-то в клубе на танцах, и свою судьбу он притормозил — поздно женился, поздно перебрался в город, потому что все сам, помохи ждать неоткуда. Однако жизнь сложилась: Юра живет в кооперативной квартире, ни от кого не зависит, товарищи по работе называют его в доску своим. Еще бы, он их все время выручает, подменяя то одного, то другого. Товарищи со слабинкой, а Юра непьющий, поэтому чуть что — к нему. Юра и закуривает после того, как выпьет, но поскольку он не пьет, то, значит, и не курит.

Итак, жизнь сложилась, а день рождения не складывался. Юра посмотрел на полногрудую, с озорными глазами, жену, перевел взгляд на сына. Нет, жена молодец. Все блюда приготовила сама, менять их за столом попросила соседку, теперь сидит, отдыхает, прическу успела сделать, маникюр. Однако Юра чувствует ее укор: «Предлагала тебе, дурню, в заводской столовой, глядишь, сейчас песни б пели». Жена у Юры реактивная, ей лишь бы быстро, а Юра неторопливый, любит подумать. «Столовая большая, — в который раз отвечал он ей, — гости разбредутся по углам, а потом начнут по одному бегать да прикладываться». — «А баянист на что?» Баянист стоит сорок пять рублей, этих денег Юре откровенно жаль. Незнакомый человек долго сидит за столом, насы-

щаясь до необходимой кондиции. Какой после этого из него музыкант? Две-три песни, и вот уже съехали на «барыню», топот, визг и... скука.

Сын пожертвовал тренировкой ради отца, тяжко ему среди стариков, на рюмку водки он смотрит как на горькое лекарство, и на тонких губах можно прочесть усмешку — зачем оно здоровому? Парень с головой, но спорт слишком затянул: то сборы, то соревнования, в том числе и за границей, некогда даже жениться. Юра хотя и любил сына, но от банкетного зала с рок-группой отказался.

Он предоставил одну из своих трех комнат, взял напрокат аккордеон и теперь ждал, чем окончится его собственный вариант.

Пока все шло гладко. Гости, Юрины сослуживцы и несколько приглашенных из поселка, всего человек тридцать, освободились от напряженной тишины, повисшей в начале застолья, пошли разговоры, за ними — смех. Юра одним ухом ловил приветствия в свой адрес, а другим — звуки из прихожей. Спокойствие его убывало. Сын включил магнитофон — Юра метнул сердитый взгляд. Однако сын (тоже характер) лишь приглушил звук. Щелкнул замок на входной двери, Юра вздрогнул, но это соседка за чем-то к себе ходила. Сын, словно издеваясь, принес аккордеон и водрузил его на телевизионную тумбочку (телевизор вынесли).

— Ого! — воскликнул лысый, с молодым лицом, мужчина (Юрин начальник цеха) и, довольный, потер руки.

— Кого ждем?

Юра что-то ответил, но гости не рассыпались, и тогда сын пояснил:

— Батя сыграет.

Юра умел играть. Всего лишь одну песню «Хмуриться не надо, Лада». Почему одну? У него были настолько широкие пальцы, что ими — на прессе работать, а не на аккордеоне играть. Поэтому Юра и работал на прессе, а к аккордеону имел самое малое касательство. В конце концов ему пришлось схватить его (гости стихийно запели), и это был порыв отчаяния: перекрывая голоса, Юра врубил свою «Ладу», выразив тем самым накопившуюся обиду, которую причинил ему непоявившийся аккордеонист.

Но аккордеонист уже стоял в прихожей. Никто не заметил, как он вошел. Худощавый, среднего роста, с высоким лбом и умными карими глазами, он снисходительно слушал. Когда Юра закончил, тот чмокнул его в щеку и, отобрав аккордеон, повел компанию дальше. Компания восприняла его появление совершенно естественно, как будто так и было

задумано, лишь Юра, выйдя на балкон, хватанул снегу для успокоения. Он все еще не верил, что спасен.

Он пробыл на балконе довольно долго. Доносившиеся звуки говорили о том, что веселье набирает силу. Где-то на двадцатой, без перерыва, песне грянул такой мощный хор, что Юра, обожженный холодом, впрыгнул в комнату. На собственном дне рождения он оказался гостем, никто не вспомнил, где он, что с ним.

Аккордеонист был опытный. Взглянув на располневших женщин и начинающих седеть мужчин, он понял, что им нужны песни их молодости. И он легко извлекал мелодии из своей памяти, это ему ничего не стоило. А гости были изумлены тем, как они могли забыть такие дивные песни, ведь это лучшее, что у них было когда-то. И неправда, что время не возвращается, еще как возвращается!

Аккордеонист знал и о таком свойстве поющих, как вспоминать слова через двадцать, тридцать лет. А когда человек, сам себе удивляясь, отыскивает их в памяти, он поет необычайно громко. Он радуется тому, что нырнул в счастливое начало жизни. «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить...»

Конечно, была признательность за доставленное удовольствие вот так, запросто, от души попеть. Юра до того растерялся, что опрокинул подряд две стопки, а вместо закуски попросил сигарету. Но курить не стал, лишь смял ее; внутри у него все трепыхалось. Набежала слеза, и он стыдливо прошел по ресницам кулаком. Жена делала ему знаки, мол, горячее стынет, но он ничего не видел. Сын высматривал у соседки слова понравившейся ему песни. Аккордеонист почувствовал, что одного пения мало, и предложил танцы. Сделал он это своеобразно: тихонько, как бы для себя, заиграл мелодию популярного в пятидесятые годы танго. Вначале он даже скрыл ее, пустив вперед импровизацию, отдаленно ее напоминающую, но потом внезапно обнажил, простую и бесхитростную. «Мне бесконечно жаль...» Едва он это сделал, как откуда-то из угла хрипло выкрикнули:

— Волька!

Аккордеонист продолжал по инерции играть, всматриваясь в человека в углу, глаза его наполнились тем ужасом, с которым связано всякое нежданное и негаданное, он дрогнувшим голосом, но отчетливо спросил:

— Грень?

Так узнали друг друга бывший председатель поссовета, с легкой руки которого в поселке после войны появился клуб, и мальчишка, игравший в этом клубе на танцах за буханку хле-

ба. Тридцать лет прошло с той поры, но словно их и не было. Заполняя время, кинулись в объятия друг друга два человека. Оборвалась на полуэтакте музыка, смешались гости, веселье покатилось вспять...

— Десять лет из-за меня? — волновался Владимир Родионов, всматриваясь в расплывшиеся черты своего бывшего покровителя.

— Двадцать пять, — пробасил Грень.

— Двадцать пять?

— Дали четвертак, а отгонял червонец.

— А помните пионерожатую Алю? В поселке говорили, что она на вас донесла.

— Вспоминал кой-когда.

— Злополучный тот пионерский галстук, — сокрушался музыкант, гладя большую мягкотелую стариковскую спину.

— Галстук мелочь. Дали срок мне за плен. Я в пленау месяц был.

— Товарищи, это мой первый учитель! — радостно сообщил Володя.

Юра глазами показал брату: неплохо бы продолжить. Володя отмахнулся — веселье потеряло для него всякий смысл.

— Сыграй-ка, Волюшка, — поддержал Грень Юру. — Только и был у меня свет в окне, что ты. Прости, не выдержали нервишки, хотя и обещал я Юрке молчать. Кстати, а почему ты опоздал? В поселок завернул?

Володя кивнул.

— Я ж тебе говорил, что мать в Забайкалье, — укорил пошедшний Юра. — Теперь в Венгрию собирается к другой дочке.

— Разлеталась, старая, — улыбнулся Грень.

— За офицеров вышли наши сестренки, — пояснил Юра.

— Товарищи, вы как хотите, — громко заявил Юрин начальник цеха, — но я под магнитофон танцевать не собираюсь. Я полюбил аккордеониста и буду ждать его хоть до утра.

— Тяжело было в лагере? — не желая ничего слышать, спросил Володя.

Юра умоляюще смотрел на брата, а Греню скрытно показывал кулак, мол, вылез, сапог, не видишь, все испортил, — но ничего не помогало. Володя не хотел расставаться с мыслью, что из-за него Греня сослали на каторгу, он стоял поникший, опечаленный, как бы раненный новым обликом Греня, тем, что этот опухший старик никогда больше не превратится в стройного молодцеватого сержанта, каким Володя увидел его после войны. Ощущение вины сдавило Володю, как всякого совестливого и думающего человека, но собравшимся его терзания были неизвестны. Они лишь поняли, что встретились старые знакомые.

— В лагере как раз — нет, потому что фронтовики взяли верх над уголовниками. А вот работенка выпала не приведи господь: на урановых рудниках. Возле каждого такого рудника остались разбитые бараки да кучи могил.

— А судил вас кто?

— Никто. Забрали по анонимке, следователь сначала, знаешь, к чему придрался? К фамилии. Что у тебя за фамилия, спрашивает. Чухонская, отвечаю. Мои предки тут жили до Петра еще. Нет, говорит, это ты сейчас придумал, а на самом деле ты немецкий шпион. Хотел сделать из меня шпиона, но когда я подтвердил, что был в плену...

— Значит, не из-за меня?

— Да что ты, Волюшка! Помнишь, как лазал к Денисенкам через подполье?

— Конечно, — с готовностью ответил Володя.

— А теперь представь: тебя сажают за это.

— За это?

— А почему бы и нет? За то, что жить хочешь. Человеком хочешь быть. Вот и я хотел, да кому-то не понравилось.

— Чувство обиды не прошло?

— Да как сказать... Государство мне вернуло все, что в его силах. Но здоровье разве вернешь?

— Мне тоже не повезло, — сказал Володя. — Аккордеон у меня отобрали, из клуба сделали детский сад. Юрка хотел устроить в музыкальный интернат — мать испугалась, что помру с голоду. Лишь после армии удалось поучиться, но поезд, как говорят, ушел.

— Прибедняешься, наверное, — недоверчиво пробасил Грень.

— Всего лишь преподаватель музыкальной школы.

— Ничего себе, — возмутился Грень, — так играть!

— Самодеятельность, — пренебрежительно сказал Володя и отвернулся.

— Дети есть?

— Сын.

— Музыкант?

— Конечно.

— Ну вот и радуйся. У меня вообще ничего. — Похлопал Грень Володю по спине.

Юра тем временем пустился на хитрость. Принес откуда-то стеариновые свечи и зажег их по всей комнате. Когда верхний свет погасили, то Володя с Грением словно оказались в клубе, как бы на вечере с керосиновыми лампами. Так велико было это ощущение, что Володя не выдержал и взял аккордеон. Заиграл он таким детским звуком, тоненьким, в одну

строчечку, щемящим, неровным, готовым вот-вот оборваться, что у Греня навернулись слезы. «Вот и хорошо, Волька, вот и хорошо, и больше ничего не надо!.. Мечта сбылась, можно сказать». Володя это сделал из молодого озорства, но комната тут же наполнилась танцовщиками. Он продолжал играть детским звуком один танец за другим, но никто не сказал ему: брось притворяться, выдай что-нибудь посущественнее. Ему верили так же, как и тридцать лет назад! А когда он усложнил музыкальный язык, танцующие буквально вошли в раж. Начальник цеха сначала освободился от пиджака, потом от галстука и умолял разрешить ему плясать в майке. Как ни крепился Юрин сын, но, попробовав себя в «летке-енке», финском танце шестидесятых годов, он то и дело обращался к аккордеонисту: «Летку, дядь Вов, летку». Греня так утанцевали женщины (в компаниях их всегда больше), что он прятался на балконе.

Володя заиграл «Вам возвращая ваш портрет». Он просто-напросто угадывал любимые мелодии этих людей. Кроме танго, в ходу были чарльстон и краковяк, а вальс оказался королем. Вальсировали так истово, с таким небережением сил, что дверь на балкон не закрывалась: пары вылетали прямо на свежий воздух. «Волька, а помнишь?» — кричал Греня в открытую дверь и тут же получал музыкальный ответ. Юрин начальник цеха после каждого танца нагибал Володину голову и чмокал в темя.

— Какое счастье, что ты не магнитофон!

Юрина жена шепнула Володе:

— Ты сэкономил ящик водки.

— Моя цена в базарный день, — иронизировал Володя.

— Начал с буханки хлеба, а кончил...

— Дай Бог всем так, — не поняла она. — Двести рублей за вечер! Больше, чем я за месяц...

Юра принимал первые поздравления. В ответ на его «понравилось?» ему отвечали: «Не то слово». Тихонько спрашивали, можно ли пригласить Володю на свадьбу, день рождения... Редкий музыкант, такому и заплатить не жалко. Юра отвечал уклончиво в том плане, что Володя живет в другом городе, не так легко выбраться. Зато Греня всех обнадеживал: «Мы его вытащим оттуда, он будет наш». Греня благодарили как учителя. Он поначалу конфузился (какой там учитель?), но в конце концов смирился. Так и сновали люди от Юры (он стоял в прихожей) до Греня, курившего на балконе, а Володя в это время играл попурри из всего того, что им было исполнено. Он не только соединил в причудливый орнамент вальсы и фокстроты, но и вкрапил песни новейшего времени, и эта неожиданная, свежая краска задержала людей внизу. Уже все простились и вышли, и Володя пошел на балкон к Греню узнать, как он себя чувствует, но люди у подъезда попросили на прощанье танго.

— Чуть сердце не вылетело, — признался Грень. — Ты опасный человек, Волька!

— Дядя Грень, но я не опаснее рудника, в котором вы...

— Сынок, — попросил Грень, — не пытай меня больше об этом. Ради Бога. Результат будет — я исчезну раньше срока. Пожалей меня, старика, будь добр.

— С рудника, насколько я знаю, ни один человек...

— Правильно, — подтвердил Грень, — зэки на руднике погибали. Я за тем вернулся, чтоб сказать тебе об этом.

— Простите меня, дядя Грень, — поднес Володя носовой платок к глазам, — я не по злому умыслу. А помните, у вас была девушка? Дождалась ли она?

— Про девушку лучше завтра.

— Какое завтра? У меня утром поезд.

— Тогда ночью.

— А почему не сейчас?

— Поиграй, Волюшка, люди ждут.

— Не будет этому конца, — вздохнул музыкант.

— Вот и хорошо, родной мой. Самые лучшие слова, которые ты хочешь сказать мне, у тебя в пальцах.

— Не начну, пока не услышу про девушку.

— Танго века! — крикнули снизу.

— Мне бесконечно жаль, — пропел Грень в темноту, — своих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний...

Володя через решетку балкона увидел: внизу, в свете уличного фонаря, задвигались пары, и разбавил хрипоту Грения тонким и чистым звуком.

— Она меня не дождалась, но зато я ее дождался, — задышал над ухом Грень.

— Как так?

— Вернулся, смотрю, жизнь ее не kleится, и предложил пойти за себя. Она — молчок, но глаза... Пришла ко мне с двумя детишками через полгода.

— Так где же она?

— В поселке.

— Утром чуть свет едем в поселок. На первом автобусе.

— А поезд?

— Подождет. Завтра соберем всех, кто танцевал в сорок шестом году.

— Ой, Волька! Ты ли это говоришь? Да за такие слова я...

Снизу потребовали прощальный вальс.

— Танцы до упаду! — закричал Грень в темноту.

— Вот именно, — Володя засмеялся и пошел с аккордеоном на улицу.



АРТИСТКА ИЗ НАРОДА

Я шел из клуба после концерта, а перед глазами стоял девичник послевоенного времени. Девичник вытеснял изящную фигуру артиста кино, которого я только что видел. Одетый в белое и голубое, артист смешил, забавлял, удивлял, но не трогал. Он и сам отдыхал как бы. Конечно, это тоже искусство, но я в этом деле человек третий. Я без того, чтобы мне проникли в душу, не могу. А желание сорвать как можно больше аплодисментов? Мне оно попросту непонятно. Их можно заработать у нашей публики, вообще не раскрывая рта: достаточно выйти, постоять перед микрофоном и уйти.

В искусстве я ценю глубину. Ту самую, которая захватывает и не отпускает. По старинке называемую сопереживанием. А как ее достичь, об этом пусть думает тот, кто выходит на сцену. Иначе выходить незачем. Приятно провести время можно и в лесу, и просто, глядя, как корова жует.

Вот и вспомнилось то далекое дотелевизионное время. Тогда собирались женщины, а дети увязывались за ними, да и куда ж их, детей, было деть? Большинство семей состояло из женщин и детей. Устраивалась складчина, кто что принесет. Была и выпивка, но больше символическая. Какая-нибудь женщина с непривычки быстро пьянала и со счастливой обреченностью роняла голову на грудь, а руки — на обнаженные колени. Эти колени, на которых показывалось кружево белой сорочки (все тогда носили белые самодельные сорочки), обычно шокировали более старших по возрасту, они выводили такую женщину из-за стола, и через минуту любовный порыв ее растворялся в неистовом танце, в дроби каблуков. Женщины порассудительней и покрепче нервами хватали ребятишек и вальсировали с ними, как с воображаемыми партнерами; такие женщины сохраняли веселость и благопристойность до конца вечера, чтобы потом, дома, беззвучно отплакаться в подушку.



Среди них я и сейчас вижу фигуру, совершенно ни на кого не похожую, возможно, и не знавшую своих достоинств, — Анны Лаптевой. В наше время мало-мальские способности легко развить, и, может быть, поэтому у нас так много средних исполнителей, а тогда, без мужа, с двумя детьми, Анне Васильевне не то чтобы развить — подумать о себе некогда было. Время наложило на нее отпечаток, уравняв со всеми, но художественная натура, сколько ее ни томи, выход обязательно найдет.

Со скучающим обветренным лицом эта женщина сидела где-то в уголке, время от времени отыскивая своих возившихся под столами или за печкой детишек, и лишь глаза, одухотворенные внутренним блеском, с виду спокойные, выдавали ее. Она знала, что ее час наступит, и не торопила его. Напившись чаю, наплясавшись, женщины начинали потихоньку задевать ее, мол, что ж ты, Аннушка, помалкивашь, давай вноси свою лепту в общий котел. Она сердилась бесцеремонности товарок, их грубым подковыркам, потому что желание сказать свое зрело без ее участия, и чем больше она противилась ему, тем быстрее оно созревало. И вот эта минута наступала: шикали на детей, все вокруг замирало, и Анна нехотя, со страдальческим выражением начинала.

— Встретились на улице две глухие старушки, — брала она у кого-нибудь темный платок и горбилась.

— Здравствуй, Акулина Леонтьевна!
— Свет мой, Глафира Петровна!
— Как живешь-можешь?
— Ничем не поможешь, ноет поясница.
— За что ж тебя в полицию, или паспорт утеряла?
— Тем и другим натирала, ничего не помогает.
— Ну и пусть тебя ругают, а ты новый хлопочи.
— Пожалуй, лечи, я и так сколько денег пролечила.
— Ах, ты получила? Ну, слава богу, а то выслали б этапом.
— Что за доктора пошли, принимала и на дом: лекарства напишут на рупь-два, а мне, старухе, каждая копейка дорога, еле перебиваюсь.

— А я, матушка, в Богадельню собираюсь, вот уже двадцать лет, как числюсь кандидаткой.

— Права ты, голубушка, погода гадкая, много людей хворает. В нашем дворе енфантерии умер генерал, говорят, долго хворал!

— Нет, матушка, он раньше не воровал, а вот как стал с товарищами водочку попивать, так и на воровство пустился.

— Неужто тебе муж-покойничек снится, знать, помин души просит.

— Много ли мне сын-то носит? Пьяница, все пропивает.

— Неужто и сын помирает? Знать, за грехи бог тебя наказывает.

— Вот только дочка меня, старуху, утешает. Замуж вышла, женишка себе нашла.

— И я слышала, что конка елестрическая по городу прошла, значит, будет дешевле проезд.

— Не думаю, что муж заест, она у меня с измоловства девушка честная.

— Да железная дорога подвесная, сверху как за границей, а Питер-то и не узнаешь!

— Ты сама, матушка, меня не понимаешь!

— Полно, Акулина, пойдем ко мне попьем чайку с вареньем.

— Ты сама, Глафира, — несчастное творенье. Тьфу!

Забытый ныне фольклор петербургских окраин тогда еще жил, и Анне Лаптевой, видимо, передался от бабушки. Во всяком случае сценки подобного рода знали многие и с разными вариантами разыгрывали, но так, как разыгрывала Аннушка, не умел никто. У нее получались две разные статушки, как бы два характера. Сценка то и дело прерывалась, потому что какая-нибудь из слушательниц так надолго заходилась в смехе, что уж начинали смеяться, глядя на нее. В этот момент отмякали женщины, расслаблялись, мир казался невесомым, а будущее, о котором они так часто мечтали, обеспеченное, красивое, ждало за дверью коммунальной квартиры, только распахни ее.

Зачин был сделан. Анна Васильевна под благодарные взгляды товарок выбиралась из угла, на ходу оправляя косынку на плечах. Несмотря на то, что ей было в ту пору тридцать лет, ее тонкая фигура больше напоминала девичью, лишь преждевременные морщины старили. Но и морщины постепенно разглаживались, лицо розовело, а глаза становились, я бы сказал, дерзкими. Шел разогрев, но как он шел? Она начинала менять голос в зависимости от представляемого ею характера. То басом, то дискантом заговорит, то пьяный или прокуренный голос представит. И с такой степенью похожести, что бабы в страхе отшатывались от нее, сгоряча называя ведьмой, так непосредственно они все это воспринимали.

— Хто щ-сы сял?

Бессмысленная, идиотская, несколько раз повторяющаяся фраза. Открытый рот, глаза-бельмы. Хватательные движения, попытка пройти прямо. Ну, конечно, столяр дядя Паля Кузин в сильнейшем подпитии. До принятия дозы —

тихий мужичонка, строгающий рубанком у себя в сарае, а после принятия — навязчивый, хвастливый тип, желающий, чтоб все его слушали и восторгались. Но в таком виде он никому не нужен, и в первую очередь — семье. Та ни под каким предлогом не собирается его пускать. В конце концов жена с детьми ночует у соседей, а он — дома, на обломках входной двери. Но вот кто-то подшутил, сняв с его руки часы, и фраза, с которой дядя Паля ко всем обращается, означает:

— Кто часы снял?

Но никто ее не понимает, потому что он еле ворочает языком. Не понимая, смеются, а дядя Паля издевки простить не может и... начинается круговорть. Она напоминает испанскую корриду: дядя Паля бегает по поселку за всеми, кто его дразнит. И таким он предстает перед собравшимися в игре Анны Лаптевой. Анна словно хочет сказать: тяжела наша доля, бабоньки, цвет нашего поселка, наши мужья, полегли на войне, остались разве что их тени... Но лучше жить с памятью о хорошем, чем с тенью.

Однажды, заслышав, что его «показывают», дядя Паля не выдержал, пришел посмотреть. Аннушка разыграла его как по нотам. Кузин побледнел, он не знал, что такое возможно. Дождавшись Аннушки, он в темноте набросился на нее с кулаками. Но бабы учили такой вариант и сами отпустили его. «Ах вы... — ругался он, отступая к сараю, — гробы я вам сварганю заместо табуреток». Но странное дело: пить он стал не так, как раньше. А чтоб не догадались, что все это на него подействовало, придумал теорию «последнего стакана». «Сколько раз тебе говорил: не пей последний стакан», — поучал он какого-нибудь жаждавшего опохмелиться, возвышаясь над ним ровно на этот стакан.

Бесстрашие Аннушки меня пугало. Решиться показать самого директора завода Лютого! Бритоголовый человек в военном френче как-то заглянул на огонек и тут же попал под увеличительное стекло. Главное качество его состояло в нагнетании страха на рабочих. Фамилии этого человека я не помню, Лютий — скорей прозвище. Но однажды был свидетелем его крика в проходной завода, где он стоял с карманными часами «Молния» в руках, это было ранним утром: «Матвеева — десять!» И опоздавшую на десять минут женщину осудили на три года. Сама Аннушка не раз сдавала пятикилометровый кросс до завода. Когда она просыпалася смену, это был какой-то кошмар: ужас сковывал ее движения, обескровливал лицо. Она выскакивала на дорогу полураздетая, оставляя детишек в страхе на целый день. Пока у завода не было сил на собственное жилье, приходилось топать издалека, и женщины эту дорогу все время проклинали.

Война, выбившая мужчин, не в силах была разрушить семьи. Пусть неполные, но они держались на женщинах. Но когда уходят женщины... У Матвеевой остались двое детей, и дорога им была одна — в детдом. Комнату ее тут же опечатали (потом ее занял инженер), а за детьми приехала машина. Не знаю, что стало бы с ними, не случись это воскресным утром. Бабы, кто из любопытства, кто из сострадания, обступили «воронок», а когда увидели выходящими мальчика с самодельным ружьем и девочку с одногонкой куклой, то попросту закрыли их телогрейками. Дети исчезли, растворились, как ни старался человек в галифе найти их.

Девочку взяла Анна. На девичнике в присутствии Людого она подзывает малышку и просит повоспитывать куклу. Девочка стесняется. Тогда Анна начинает пеленать куклу, убаюкивать, но кукла капризничает, не хочет спать... Девочка втягивается в игру и говорит: «Будешь хорошо себя вести — вторая ножка вырастет». Опять они уговаривают куклу поспать, меняют пеленки, и тут происходит чудо: «прирастает» вторая нога. Правда, не розовая, пластмассовая, а деревянная, белая. Но все равно — нога. Лицо девочки начинает светиться тихой радостью. С такой куклой теперь можно ехать к маме.

— Где мама? — сажает Анна ее к себе на колени.

— В командировке.

— Что она там делает?

— Спички.

— А ты что будешь делать?

— Тоже спички. Куклу научу. Наделаем много, и маму отпустят.

— Не двинуть ли нам, бабы, на подмогу Матвеихе? — вопрошают Анна. — Что молчите? Не сегодня-завтра все равно кто-нибудь опоздает.

В полной тишине Людый выходит. Анну окружают тревожные глаза. Что будет? Легко загреметь в такие времена. Но вот подала голос одна, вторая... слов не разобрать, однако смысл ясен: да что ж это такое? Мужиков потеряли, ладно, а сейчас, в мирное время, баб теряем? В своем-то царстве-государстве... В итоге маленькая победа: стали возводить женщин на работу. Приезжал открытый грузовик с поперечными лавками, женщины заполняли его и катили на работу с песней.

Единственного мужчину, приходившего на девичник, я хорошо запомнил. Он не говорил, не танцевал, не притрагивался к чаю, а просто сидел и смотрел на Анну. Выдержанье его можно было позавидовать, потому что женщины

пускались на всякие хитрости в надежде, что он обратит на них внимание, но он, кроме Анны, никого не замечал, он ждал ответа на давно заданный вопрос.

Давно-то давно, да, видать, Анна знала цену вопросу и не торопилась с ответом, хотя многие ей говорили: «Я бы не задумываясь...»

Что это был за вопрос, наверное, и так понятно, если бы он не вместили жизнь третьего человека, мужа Анны, Левушки. Натура деятельная и нетерпеливая, Анна сама выбрала себе мужа. Бывают такие люди, которые ждут, — что женщины, что мужчины. Левушка слыл мягким и сердечным, а такие всегда ждут. Анна пришла к нему и сказала: «Ты мой», и Левушка с радостью согласился. От самого Левушки «я люблю» можно было ждать годами, Аннушка это сразу поняла. Каковы были притязания третьего человека, Деменкова, сидевшего сейчас среди женщин в темно-зеленой, из хорошей материи гимнастерке, я не знаю. В пору молодости, возможно, их и не было. Но они обнаружились в самое страшное время, в войну.

Вдруг ни с того, ни с сего этот самый Петр Деменков, когда все утряслось (в том смысле, что завод эвакуировался под Куйбышев, заработал для фронта и обрел статус военного), стал замечать Анну. То на картофельном поле встанет с ней на боровок, то на конюшне вмешается в действия конюха, якобы не ту лошадь выдавшего Анне, то еще какие-то знаки внимания окажет. В подсобное хозяйство — иначе не прокормиться — пошли работать все женщины, и работа эта была чисто крестьянская, а Деменкова поставили заведовать хозяйством. Аннушка возвращалась поздно вечером. Уже и Левушка выполз из «ямы» (так прозвали серный рудник), детишек накормит, а она еще только тащится с припрятанной в кармане морковиной или огурцом: хоть и недалеко «подсобка», а сил не остается на дорогу.

Однажды женская бригада разбрелась по лесопосадке, собирая для военной медицины бересклет (сучковатый, крепко сидящий в земле кустарник), Деменков заметил, что Анна отстала от товарок, и шутливо обнял ее сзади. По тому, как цепко держал он ее, она поняла, что это не шутка. Попробовала вырваться — не хватает силенок, стала укорять — в ответ смешок, и тогда Анна, испугавшись, пустила в ход зубы...

Случаев приставания мужчин к женщинам в том ограниченном пространстве из трех бараков, что окружали серный рудник, не было, и потому Анна никому не сказала о нем. Поступок Деменкова она объясняла так: здоровый мужчина, бывает. В семейной жизни Деменкову не повезло: большая жена, детей нет. Но она здесь при чем?

Деменков «обиделся». Работу всучит грязную и на отшибе где-нибудь. Своих попыток не оставил, но Анна предупредила, что пожалуется Лютому, если это будет продолжаться. Левушку она втягивать не хотела, берегла. Втянуть Левушку означало: собственными руками отправить его на фронт, потому что мелкие начальники, вроде Петрухи Деменкова, здесь, на руднике, решают все.

Как ни старалась, не уберегла она Левушку. На мужчин, работавших в «яме», распространялась бронь, но вот стали призывать их. И первым — Левушку. Анна подумала, его одного, и пошла на поклон к Деменкову, чуть ли не в ноги упала. С тем пошла, чтобы тот отстоял мужа.

— А, жареный петух, — Петро как сидел на взмыленной лошади, так и не слез с нее, — в одно место клюнул?

— Кормилец... — только и смогла вымолвить Анна.

— Раньше надо было.

— Ну какой он вояка, посуди. В армии не служил.

— Завтра в посадке решим, приходи.

Повернулся коня и был таков.

Анна поймала шоferа трехтонки, перевозившего серу с рудника на завод, и поехала к Лютому.

Завод обосновался в десяти километрах от рудника. Здесь за год вырос поселок из каменных двухэтажных домов. Анну ошеломило электричество, от вида которого она отвыкла. Люди здесь, несмотря на войну, жили лучше, даже озеро себе сотворили, запрудив небольшой ручей. Завод работал в три смены, а директор, кажется, и не выходил из него. Когда охранник доложил ему о женщине из «ямы», он тут же велел ее пропустить.

Листал какие-то сводки и вроде бы не слушал, но смысл уловил. Перебил:

— С рудника всех придется взять. Немец под Сталинградом.

— Всех мужиков?

Лютый кивнул.

— Возьмите лучше меня, а мужа...

— Займешь его место, Лаптева, и бабам скажи: пусть готовятся на замену.

— А как же «подсобка»?

— С «подсобкой» позднее решим, а сейчас весь урожай — на фронт.

— Как весь? Сами-то что жрать будем?

— Я предупреждал Деменкова: «Нарежь семейные участки». Еще весной. Дал трактор на два дня. Передай ему, пусть нарежет.

— В сентябре? участки?

Анна выскочила сама не своя. Левушку забирают на фронт, но это не все: впереди голодная зима. Оказывается, нужно было своей землей обзавестись и жить с ней, а не с общей. С общей — в общий котел.

Всю зиму Аннушка проработала на руднике, где серу добывали ломом, кайлом да лопатой. Фуфайка ее и валенки пропитались желтой удущливой пылью. На манер Левушки она оставляла их в барабанном коридоре. Рудничным женщинам время от времени подбрасывали хлеб, муку, ситец, а чтобы выменять что-нибудь из них на картошку, приходилось идти в глухую деревню за полсотни верст. Деревня бедствовала сама без керосина и электричества, но продуктами делилась. Картошку Анна привозила хорошую, хотя и необычную по цвету — красную.

В «яме» лучше было: не доставал ветер. Когда ломалась трехтонка, женщины, сбившись в кружок, гадали, где их мужья? От двадцати человек хоть бы одна весточка. Но вот на рудник пригнали пленных немцев, и стали сбываться нехорошие предчувствия. Нашелся очевидец, который плыл с поселковыми мужиками по Волге к Саратову, а что с ними после Саратова стало, он не знал. Жены продолжали ждать мужей, хотя знали, что за Саратовом.

Ожидали по-разному. Кто надеялся на письменные запросы, кто вгонял себя в работу, омуничивался, а большинство жило с натянутой в душе струной, ослабить которую, кажется, ничто не могло. Анна неожиданно для себя, как только бригада вернулась под начало Деменкова, устроила спектакль в лесопосадке. Весной. Во время нарезки семейных участков. Опять Деменков начал приставать, а она взъями да назначь ему свидание.

Женщины попрятались в кустах, наблюдая, как петушится их начальник и какую рискованную игру ведет Анна, заставляя отвечать на вопросы, которые разумному человеку не обойти.

— Погодь, Петро, погодь, — слышался среди нежной зелени смешливый голосок Анны, — ты что: в самом деле любишь меня?

— Маюсь, Нюра, давно и бесповоротно. Сил нет.

— Но у тебя есть близкий человек, жена.

— Сама не живет и мне не дает.

— Зря ты это, Петро, зря. Что с ней?

— Будто не знаешь? — Легкие.

— В таком случае отвези в Куйбышев.

— Больницы забиты ранеными, не берут.

— А здесь какой смысл держать?

— Да об чем ты...

Послышался хруст веток, дернулись листья высокорослого орешника, и опять стихло.

— Так не пойдет, Петро. Если на жене ты поставил крест, то и на любой другой женщине рано или поздно — тоже.

— За этим и позвала?

— Почему бы и нет?

— Ах ты...

Несдобровать бы Анне, не приди ей на помощь подружки. Ох и шум они подняли! «Знаем мы любовь начальников», — гремело вслед сконфуженному Деменкову. Он даже лошадь не смог отвязать, бросил. Женщины улюлюкали, провожая любителя острых ощущений до самого дома, а потом бездельничали весь день:pekli на костре картошку, украшали себя венками из подснежников, пели песни. Начало весны в заволжской лесостепи сродни чуду: жизнь в ней просыпается с неистовой силой. Что ни окинь взглядом, все крупное, ядреное: снег в оврагах, фиалки на буграх, набухшие почки яблонь, кряжистые дубы, завитушки облаков на лазоревом небе. Тут и расчувствоваться недолго. Мальчишки постарше, воспользовавшись тем, что матери «отключились», набрали камней и побежали лупить пленных немцев. Но назад вернулись сконфуженные, так и не выпустив ни одного «снаряда». Немцы оказались грязными, оборванными и голодными, о чем мальчишки с сожалением сообщили. Позже они этим немцам кидали через головы охранников морковку.

Деменков нашел единственно правильный, выход: ушел на фронт. Всю войну о нем ничего не было слышно, а на «подсобке» его заменила Анна. Анна первым делом поставила на ноги жену Деменкова, Ефросинью. Пришла к ней и грубо, по-мужски сказала: «Хватит валяться, айда работать». Сухой климат понемногу сделал свое дело, и к концу войны она уже была вполне здоровым человеком. Но вот война окончилась, все засобирались на родину, Ефросинья — тоже, а ей нельзя в питерские болота, не подходят они ей. Как ни отговаривали ее, как ни нахваливали здешние помидоры, она предпочла родной воздух. Вернулись: ни кола, ни двора, завод прежде нужно подымать. Бывалые не выдерживали, а что про Ефросинью говорить? Про нее и говорить нечего. Поработала с год — и не стало ее.

Прежнего Деменкова напомнили разве что глаза. Вернулся он притихший, словно провинившийся, без наград и ранений. Попал в такие войска, которые своим спуску не да-

вали. Бежишь, скажем, в атаку, а немец на тебя танком прет, ты с испугу оборачиваешься, а там Деменков, вооруженный лучше тебя, с приказом «ни шагу назад». Вот и выбирай, немецкую или свою пулью. Волчья работа. Товарищ Сталин придумал. Для скорейшей победы. Кажется, хорошо придумал, но не учел: кому опосля победителя спасать? Опять бабам? Анне? Петро так и не мог отойти от войны, душа его напоминала прогоревший дом: снаружи и крыша, и окна целы, а внутри пусто, ни лестниц, ни перекрытий. Анна бы спасла его, сильная женщина, что и говорить, но любовь к мужу, ожидание его пересиливали. Левушку она будет ждать всю жизнь. Придут на поселок бумажки, двадцать штук, выписанные чохом, одной канцелярской рукой, в них — таки-то и такой пропал без вести, но что они могли добавить к тому, что женщины знали?

Неожиданно приехала Матвеиха и забрала дочку, для Анны это был удар, она привыкла к девочке, да и та уже называла ее мамой. Не хотелось ей уезжать, по лицу было видно. Матвеиха порассказала, как насиличиали охранники, как она прижила там ребенка, но он умер. Я тоже привык к девочке и втайне мечтал жениться на ней, когда вырасту. У меня уже тогда засело в мозгу, что девочек надо спасать от охранников. Приедет охранник с винтовкой, а я встану впереди жены тоже с винтовкой. Пока охранник разворачивает свою, я свою уже развернул, потому что она у меня короче, с отпиленным дулом. Вот и выйдет охраннику боком его приезд. Но девочке я так ничего и не сказал. Прощаясь, женщины заголосили, словно по покойнику...

Не забыть мне романтическую сцену, которую Анна исполнила не часто, хотя женщины всякий раз ее просили. Но если приходил Деменков, исполнение было обеспечено. Эта сцена, наивная и чистая, ничего не прибавляла ни к войне, ни к ее последствиям, но почему-то была нужна этим забитым и замордованным людям. Я бы не стал ее вспоминать, но она дорога мне, и проницательный человек поймет, почему.

В ней участвовали все. Все, кто хотел. Пока выносили столы и переодевались, Анна Лаптева репетировала отдельные куски с участниками массовки. А с главным героям она проходила сцену целиком, посреди снующей детворы, и многие взрослые старались ее не пропустить.

Когда все было готово, зажигали свечи. Аннушка поднималась на возвышение, обозначавшее балкон дома, и с этого воображаемого балкона вглядывалась в темноту. В полумраке двигалась процессия: толпа, стражники, палач и бледный, закованный в кандалы юноша, которого ведут на казнь.

— Чу... — начинала Аннушка. — Что слышу я? Его шаги иль это ветра посвист?

Процессия замирала на какое-то время, чтобы дать героине прийти в себя.

— Как же так? — вопрошала она в темноту. — Меня уверили, что казнь отменена.

Анна тут же меняла голос на равнодушный, мужской:

— Идите, барышня, спокойно спите.

— И вот уже не сон, а явь: его ведут, и только на меня надежда.

Анна поднимала глаза к потолку, и в это время один из статистов приближал свечу к ее лицу. Начиналась игра лицом. Присутствующие буквально впивались в него. Сначала растерянность: неподвижные глаза, полуоткрытый рот и машинально что-то ищащие руки. Потом страх: зрачки расширялись, рот плотно сжимался, а руки захватывали складки материи. И наконец — отчаяние: Аннушка склоняла голову, плечи начинали мелко вздрогивать, и слезы, настоящие человеческие слезы падали на пол. Вслед за ними падала и сама Анна.

— Всё прахом! — била она кулаком по полу. — Мечты, надежды! Будь проклята власть денег!

Она поднималась, сжав кулаки, полная решимости, но в это время процессия возобновляла свое движение. Заслышав шаги, Анна протягивала руку к одному из двух покрывал, висевших перед нею. Между возлюбленными было условлено: белое покрывало означает жизнь для него (он прощен, помилован), черное — смерть (ничего не удалось сделать).

Анна готова завернуться в черное, но голос за сценой вещает:

— Идите, барышня, спокойно спите.

— Никогда! — отвечала Анна, срыва белое покрывало. — Пусть тело не спасу его, но душу, душу!

Она выходила в белом, а возлюбленный, склонив низко голову, ждал своей участи. Теперь свечу приближали к нему, чтобы увидеть радость на измученном лице узника. И она вспыхивала, как луч солнца в подземелье! Он поднимал руки, возвещая кандалным звоном о дарованной ему жизни. Юношу уводили, и глухой звук красноречивее всяких слов свидетельствовал о его кончине. Аннушка этот звук принимала спиной: постепенно белое покрывало сползало с ее плеч и заменялось черным. В черном она становилась как бы меньше, и это могло означать, что силы ее на исходе, она не выдержала испытания, которое устроила себе.

Так кончалась сцена. Женщины подходили к Анне и сквозь слезы целовали ее. «Ну, Анна...» — говорили они. А некоторые добавляли: «Артистка да и только». Дети больше не возились. Им было жаль погибшего юношу. А наутро «артистка» надевала резиновые сапоги, ватник, повязывала шерстяной платок и в толпе других женщин шла зарабатывать на пропитание себе и детям.

Вместе с Анной Васильевной я, будучи мальчиком, несколько раз участвовал в романтической сцене. Сначала в массовке, потом стражником, и наконец мне доверили роль революционера. Обычно эту роль исполняла женщина, загrimированная под мужчину, но то ли кандидатуры не нашлось, то ли увидели, что я подрос, словом, поставили меня, тем более, роль бессловесная, надо только вовремя сменить скорбь на радость. Анна Васильевна порепетировала со мной, но по мере того как шел спектакль, внутри моего героя рождалось сомнение: нужно ли отправлять его с улыбкой на казнь? Ведь он же революционер, а не ягненок, поймет, что не получилось с прощением, и вдруг (чем черт не шутит?) по дороге да убежит? Мысли подобного рода накапливались, накапливались во мне и в решающий момент вылились в одно слово:

— Обманщица.

Надо было видеть, как встрепенулась Анна Лаптева! Да ей просто недоставало партнера, чтобы сыграть в полную силу!

Публика затаила дыхание. Она подошла ко мне совсем близко и, глядя в глаза, спросила:

— Боишься смерти?

Я испуганно кивнул.

— Есть вещи пострашнее.

— Страшнее смерти?

— Да. Предательство, к примеру.

Я медлил.

— Трусость в этом же ряду.

И мне ничего другого не оставалось, как пройти с высоко поднятой головой.

1987.



НЕТРОНУТЫЙ

Люся прокатили на машине. Подъехал парень в белой водолазке, широким жестом раскрыл дверцу «Жигулей», предлагая подвезти, а она после сумасшедшего дня в городском пионерском лагере (и кто их только выдумал)... Парень увез ее за город. Люся поняла, что с ней хотят сделать, и отчаянно боролась...

Геннадий Красильников, ее муж, буквально мычал, все это представляя, напрягая и без того заострившиеся скулы. Было или не было? Люся говорила, не было, тогда зачем она ему все рассказала?

Он не сразу дал волю воображению. Когда Люся, заплакав, рассказала ему про этот дикий случай, он даже пожалел ее, успокоил. Но потом... воображение догнало. Оно не только догнало, но и вцепилось мертвой хваткой: стало трудно дышать, двигаться, есть, вообще — жить.

Вот уже который день он не мог прийти в себя: поднимался в квартиру, открывал ее, но дальше прихожей не ступал, а запирался в ванной на куче накопившегося нестираного белья. Люся, настороженно ловившая малейшие шорохи, посыпала на разведку пятилетнего сынишку. Геннадий впускал его, прижимал к груди и долго сидел неподвижно и бессмысленно, как восковая фигура.

Он не ожидал, что город ударит ему в спину. Как противостоять, как обороняться? Встать на перекрестке, провожая взглядом каждую машину, подозревая в каждой подонка? Люся не запомнила даже, какого цвета была машина, не говоря о номере.

Она присмирела, ожидая, что скажет Геннадий. Но он молчал. Это было нестерпимо; лучше бы он ударили ее или оскорбили. Она не выдержала пытки и сама подошла к нему:

«Сделай со мной что-нибудь». Геннадий тихо ответил: «С собой не знаю что делать». «Не нарочно я!» — запричитала Люся. Там, где должно быть лицо, Геннадий увидел у Люси большое красное пятно. «Пойди в милицию и расскажи», — сурово сказал он. «Ты очень мнительный!» — выкрикнула Люся.

Утром они сели в один автобус, так получилось. Геннадий быстро прошел вперед и заплатил, а Люся долго стояла сзади с двадцатикопеечной монетой. Она привыкла, что платит муж, и сейчас не могла сообразить, как это делается. Геннадий не оборачивался. «Ничего, пусть», — подумал он. Когда она вышла, он отметил через стекло ее по-прежнему красивую фигуру, и ему стало не по себе. Сердце его тоскливо сжалось.

В леспроме заметили, что у него подавленный вид и он не прикасается к бумагам. В отделах работали всякие люди. Кто шутил, сравнивая его состояние с похмельем, кто всерьез пытался выяснить, что с ним, были и молчаливые наблюдатели, терявшиеся в догадках. Друзей по работе Геннадий так и не приобрел, а приятелям рассказать о своей беде не решился. Да и о чем рассказывать?

Начальник леспрома, до которого дошли слухи о состоянии инженера Красильникова, вызвал его к себе. После короткого разговора с ним Геннадий оформил командировку и вышел на улицу.

Он часто ездил в командировки, и у него был наготове вместительный портфель со всем тем, что необходимо в дороге: электробритвой, зубной щеткой, полотенцем, термосом, свежим журналом. Придя домой, он взял портфель. Подумал, оставлять Люсе записку или не оставлять, и, не придя ни к какому выводу, пешком отправился на вокзал.

Купив билет, Геннадий устроился в дальнем углу зала ожидания. Через четверть часа он понял, что в леспромхоз не поедет. Объезжать лесопункты, в прокуренных вагончиках собачиться с бригадирами и в итоге толкать план... Облегчения не произойдет, хотя и набил он руку на этих поездках, и начальство его хвалило. Он смял в кармане билет. Решение, пока неясное, все же пришло: ехать в другую сторону.

Он напоминал прежнего Геннадия Красильникова. Пружинистыми легкими шагами пересек привокзальную площадь и возвратился домой. Люси не было. Он написал ей, что едет в командировку, после чего достал из серванта сберкнижку и, полистав ее, спрятал в нагрудный карман. Еще четверть часа, взъерошенный, сидел в прихожей на детском стульчике, остывая.

* * *

— Все? — переспросила его кассирша.

— Две тысячи, — подтвердил Красильников.

Его заставили предъявить паспорт и два раза расписаться. Сберкнижку сложили вчетверо, выстригли посередине дырку и только после этого отдали деньги. Он засунул их небрежно в карман брюк и пошел в детсад к сыну.

По дороге он обдумал свои действия. Дожидаться Люсю не имело смысла. Допустим, она сходит в милицию. Что дальше? А дальше яснее ясного: ограблениями души милиция не занимается, ей ограблений хватает. Конечно, они возьмут на заметку, то да сё, может быть, еще сигналы об этом парне поступят...

Сын вместе с другими мальчишками копался в песочнице. Воспитательницы, собравшись в кружок, болтали возле корпуса. Красильников постоял за оградой... Ребятишки прислали обсыпать друг друга песком, красильниковскому попало в глаз; тогда Геннадий перемахнул через отраду. Он дал каждому по яблоку, ногой подвигал несколько игрушечных машинок, глубоко вдавливая их в песок. Ребятишки молча сопели, со страхом взирая на большой черный ботинок. Геннадий отряхнул сына и вытер ему слезы.

Утром он уже был в Москве. Радовался, что у него нет четкого плана, что он не знает, куда пойдет. Оказывается, как хорошо — ничего не держать в голове! Глязеть на этажи, смотреть, как суетятся люди, жевать пирожок и все. Он очутился на Казанском вокзале, побежал за прыгающими зелеными рюкзаками, опаздывающими на электричку, нырнул вслед за ними в вагон и... поехал. Куда? Он не стал бы этого делать, не объяви вокзальный динамик одну знакомую станцию.

В электричке было светло, просторно. Гулял ветерок, за окном мелькали перелески. Красильников представлял, как удивится армейский друг его приезду. Они не виделись четыре года. После демобилизации встретились один раз, а когда обзавелись семьями, перестали. Геннадий думал о том, что ему, по крайней мере, никто не мешал. Захотел бы — собрался. Но, видимо, он оправдывал себя в том, что не ехал, что-то было важнее. А что? Он сидел, уставясь в окно, позволяя назойливой мысли доделать свое дело.

Ну, конечно, то, что они с Люсей копили на машину. В этом было что-то искусственное. Раньше ходили в гости и к себе звали, теперь из-за лишних расходов перестали. Хоть и не каждый год, но выбирались в Крым — тоже отпало. Один телевизор, в кино и то редко. Чтобы навестить родителей, Геннадию приходилось выпрашивать командировку. Что еще? Мог появиться второй ребенок, и Геннадий загорелся было, но Люся, эта решительная Люся сказала: «Успеем».

И вот теперь... Люся прокатилась один раз, а хватит на всю жизнь. Теперь он был уверен, если бы не это, так что-то другое бы случилось, раз уж так стали жить.

— Ваш билет?

Геннадий долго рассматривал нависший над ним живот толстопузого контролера, пока не сообразил, что едет без билета. Такого с ним не бывало. Он — и заяц! С детства сидел в нем страх перед людьми в форме (из одного только этого страха обилемишился), а сейчас его не было, ну совершенно улетучился, он сидел и внутренне улыбался, глядя на пухлые, поигрывающие компостером пальцы. Толстяк, привыкший к волоките с уплатой штрафа, молча выписал квитанцию, а когда Геннадий заплатил еще и за старушку, ехавшую с корзиной цыплят (он помог ей садиться), удостоил его внимательным взглядом поверх очков. Но опять-таки ничего не сказал.

* * *

— Ты с колбасой?

Друг кормил кошку и спросил это так, будто они расстались вчера. У Геннадия оказался бутерброд. Колбаса перекочевала к кошке.

— Гли-гли, сытый блеск в глазах, аж шатается, привыкла каждый день колбасу-то жрать...

Они обнялись. Словно и не было тяжести в груди, Геннадию стало легче, он повеселел. Друг заставил его раздеться до пояса и окатил во дворе ледяной водой. Пришла жена друга, приготовила обед. На стол выставили поллитровку. Когда Геннадий растирался полотенцем и от удовольствия крякал, его спросили: «Как Люся?» «Нормально!» — в тон своему настроению ответил он.

Обедали. Геннадий присматривался к жене Николая. Она была молчалива, легко скользила из кухни в комнату и, судя по всему, была здесь хозяйкой. Ни Николай, ни она не сказали друг другу ни слова, им достаточно было обменяться взглядами. У них с Люсей поначалу было то же самое...

— Ты посиди, — попросил друг, — если я не вернусь через час, то через два — точно вернусь.

И побежал на свой фарфоровый заводишко, где работал обжигальщиком.

— Так у вас уже двое? — спросил Геннадий у жены Николая.

— Две дочки, сына ждем. — Она засмущалась.

— Так-так, — покивал Геннадий, — я сейчас.

Он прихватил с собой портфель.

— Куда же вы?

В сельмаге, в заваленном мебелью углу пылились два черных пианино. Геннадий подозвал продавщицу:

— Это все?

— Еще импортное.

— Беру.

— Оно дорогое.

— Меня устраивает.

Продавщица со страхом смотрела, как он ворошит кучу денег, едва прикасаясь к ним.

— Доставка на дом работает?

Он взвесил на мизинце портфель.

— Что? — не поняла она.

Геннадий проник во двор магазина, заметив там телегу. В тени забора мужики курили после обеда. Он подошел к ним, переговорил. Через полчаса пианино плашмя лежало на телеге.

— Дом Рябовых знаете?

— Господи, уронят, — засуетилась вышедшая на крыльце продавщица. Она сильно зауважала Геннадия, поскольку за месячный план теперь можно было не беспокоиться.

— Покажите им дорогу, — попросил Геннадий.

— А магазин?

— Закройте.

Он сунул ей в рукав десятирублевку.

Так и осталось у него в памяти: лошадь, три подвыпивших мужика, рыжее пианино на телеге и женщина в стиральном рабочем халате, непрерывно оглядывающаяся...

* * *

Домой он приехал вечером следующего дня. Это была северная лесная деревушка, где прошло его детство. Когда-то здесь хоронили лесорубы, теперь лес отступил, разве что комары остались. Деревня разрослась, появились даже каменные, как в городе, дома.

Мать чистила картошку, когда он вошел. Она подумала, что это отец, и, не оборачиваясь, попросила его спуститься в подвал за соленым. Сердце Геннадия сжалось, и он обнял матушку. Вошедший следом отец тоже попал в его объятия, и так они с минуту простояли: сын, мать, отец...

Потом сидели в кухне, смотрели, как белый гребешок пены мечется в чугунке с картошкой, долго ели эту картошку с подсолнечным маслом и солеными грибами и еще дольше пили чай с вареньем из клюквы. Все та же незамысловатая знакомая еда. Геннадий оглядывал памятную с детства кухонную утварь и удивлялся, как он мог забыть особый запах в их доме, северный, неповторимый, тайный?

— Пойдешь? — пытливо спросил отец.

— Еще бы. — Геннадий с шумом поднялся.

— Тогда и я.

— Сиди, старый, Геня сбегает.

— Не!

Они еще препирались, больше для порядка, выражая этим скучную радость по поводу приезда их сына; северяне, по-другому они и не умели.

Геннадий кинул тюфяк и улегся на полу. Когда старший брат женился и в доме стало тесно, он вызвался спать на полу и с тех пор привык. Вот и сейчас, как мать ни уговаривала его перейти на диван, он не соглашался. Отец подтрунивал над матерью. Он обрадовался, что сын берет его по грибы, потому что мать одного его не пускала.

Совсем было заснули, когда раздался стук в дверь. Геннадий открыл. Легкое, почти невесомое существо повисло у него на плечах, обдав водкой, табаком и еще чем-то неуловимо красильниковским. Геннадий едва узнал старшего брата, он чуть было не отшвырнул его.

— Тсс... — Геннадий, притворив дверь, провел брата в кухню.

— Братуха, выпьем...

Старший пытался найти его губы, а сам едва держался на ногах. Он долго лез с объяснениями, потом пошли вариации на тему «кто виноват» и уж совсем знакомое «я им всем покажу...»

Старший не приобрел, как говорила мать, устойчивой «классификации», отовсюду его выгоняли. Ему помешала война (а кому она не помешала?): самое время учиться, а он пошел работать. Война окончилась, и еще не поздно было поступить в институт, но приглянулась девушка, женился. Слабовольные люди хоть и клянут обстоятельства, тем не менее охотно им подчиняются. Так и он. С головой инже-

нера — среди работяг. Творческий человек — среди исполнителей. Неинтересно ему. Отсюда начинаются разногласия с окружающим миром, в итоге только матери и нужен (в какой канаве, жив ли), потому что жена давно на него рукой махнула.

Геннадий налил ему полстакана воды. Брат выпил залпом и тут же свалился. Геннадий засмеялся и отнес его на диван.

Утром они с отцом входили в прохладный северный лес. Геннадий от избытка сил бегал, как молодой лось. Он описывал широкие круги вокруг отца, изредка перекликаясь с ним. Грибы попадались часто, и Геннадий без труда нарезал полкорзины. Ему не хотелось отстать от отца, который тоже собирал здорово, он это знал. Но то, что он увидел...

Маленький седой старичок шаркал палочкой по траве, проходя мимо крепких боровиков, топча иные. Лицо его обратилось в слух. Из корзины топорщились два больших гриба, какие в этих местах в насмешку зовут «лопухами». Да... Не стало того, прежнего отца, за которым еще недавно никому бы не уgnаться.

Геннадий опустил корзину и вытер пот со лба. Несколько мгновений оностоял неподвижно, прислушиваясь к шуму деревьев, не ощущая укусов комаров. Потом увидел подосиновик и стал выхватывать вокруг него траву, ломая тонкие и пригибая толстые ветви. На красной шляпке заиграла солнечные блики. Геннадий сердито крикнул отцу и отступил. Отец прошел мимо. Геннадий догадался, что его ослепило солнце, и, обежав полукруг, опять позвал. Теперь солнце не было в глаза, и подосиновик горел в тени красным фонариком. Отец наткнулся на него и просиял лицом.

Геннадий наводил отца на грибы. Он хрюпло кричал, после чего из тени выглядывал подслеповатый старичок, склонялся, не зная, что очередной гриб подарен ему сыном, и срезал его с выражением детской радости на лице. А сын... Он не срезал больше ни одного.

В былые годы родители взяли бы его муки на себя, и он уехал бы успокоенный и просветленный, но время прошло, теперь ему выпало заботиться о них, кроме него — некому. Жизнь старшего брата не задалась, был еще младший, а тот вообще анекдот: как ни отговаривали его, женился за неделю до призыва в армию. Месяца не прошло, и на тебе: молодуха сбежала с каким-то типом. «Чой-та я буду ждать яво?» — так, говорят, сказала.

Только он, средний, оставался для родителей чистым, как они сами, с ним связывалась вера в то, что жизнь у непуте-

вых братьев наладится. Он понял, что ничего не скажет; все его переживания по поводу истории с Люсей выглядели отсюда несущественными, так, что-то вроде булавочного укола: боли нет, лишь вспоминать неприятно.

А сказать хотелось. Не мог он долго носить в себе это, каким бы сильным ни был.

С утра Геннадий уходил в лес, который очень любил, к обеду возвращался. Натаскав грибов на засолку, принес мешок клюквы с дальнего болота. Он вдруг почувствовал, что поверяет свою беду молчаливому и большому другу — лесу. Это был знакомый с детства вековой лес, в котором он помнил просеки и поляны, помнил многие деревья, служившие в пути ориентиром. В детстве ему хотелось стать лесником, а вышло так, что стал лесорубом. Но к тому, падающему под треск бензопил лесу он ничего, кроме жалости, не испытывал, а этот, свой, будил в нем все лучшее, заставлял быть естественнее, проще, оставаясь в его детских глазах могучим и светлым, как родина. Он словно говорил: ну что ты там скучожился на своем пятаке? В том ли смысл? Это ж смешно, что ты погнался за жизнью, за ней не угонишься. Не для таких, как ты, гонка. Просто живи, увидишь и узнаешь больше.

Геннадий представлял испуг матери, когда он положит перед ней круглую сумму, и внутренне улыбался. Он сделает это в последний момент, чтобы избежать объяснений. К тому же, как он узнал, она подрядилась в уборщицы; moet, скребет лестницы в новых домах, собирая по пятнадцать копеек с квартиры. Новость эта больно ударила его.

— Мам, ты это... того, перестань.

— Что перестань?

— Полы мыть, отец мне...

Мать строго взглянула на отца, и это было все, чего он добился. Мать отвернулась, ни слова из нее не выжмешь.

За полчаса до отъезда Геннадий положил около тысячи рублей в поломоечную бадью, прикрыв деньги сверху шваброй. По крайней мере, мать сегодня не будет мыть полы, прикинул он и не ошибся. Она в самом деле не мыла. Он не успокоился и приписал на сотенной бумажке: «Мама, вы уволены».

С каждым часом поезд приближал его к Люсе. Теперь он не страдал о том, что с ней случилось, при ее характере это и не удивительно, но ему не давала покоя мысль, как они будут дальше. Ведь наступит минута, когда придется простить до конца, а он с этой минутой не свыкся. Обида сидела в нем так глубоко, что он и сам был не рад.

Он брел по улице, мучительно вспоминая, что же он забыл в этом городе. Ах, да...

Он сел на скамейку в десяти шагах от троллейбусной остановки. Вид у него был измученный. Нагадал: если Люся увидит его, он простит ей сию же минуту. Хотелось побыстрей прийти к какому-то решению.

Хлопнули троллейбусные двери, Люся прошла мимо. Красильников не удивился, он знал, что она рассеянна. И как с такой рассеянностью она выбрала его в этом городе, едва он приехал по распределению, уму непостижимо. У нее глаз учительницы, но всего лишь начальных классов, всего лишь. Летняя веранда, джаз, он зашел из чистого любопытства, и его тут же взяла за локоть милая блондинка. Хотя б белый танец был, и тогда все понятно, а то ведь обыкновенный танец, не белый, а она подходит и берет. Берет в свою жизнь.

Он встал и с обломком кирпича за спиной побрел навстречу автомобильному потоку, который, предупредительно трикая, огибал его. Несколько раз рука его угрожающе поднималась, но лица за стеклами были мелкие, увертливые, их появилось еще больше, пока он ездил, и это его ужасало.

— Геничка, милый!

В его небритую щеку вдруг вжалась мягкая, душистая щека Люси, она обхватила его за плечи, спутав мысли, внеся сумятицу в ту ясность, которая, как ему показалось, овладела им.

— Прости меня, я больше не буду, я больше никогда-никогда не буду!

— Мы уезжаем отсюда! — резко сказал он.

Ветер играл ее коротким платьем, туфли соскакивали, но она не отпускала мужа, она боялась его отпустить, он напугал ее своим отъездом, и теперь она узнала, что это такое.

— Я думала, тебя нет в живых, — всхлипывала она за его спиной. — Родной мой, славный, не сердись на меня, это произошло случайно, поверь!

— Как сын?

— Ждет тебя, не дождется.

«Может, и в самом деле случайно, — подумал он, ощущая горячее тело жены и свободной рукой поддерживая его, — а если нет, то...»

То что? Самому решить, что случайно. Остановиться на этом. Закрепить. Застолбить.

Он выронил кирпич, и тот пришелся по кончику туфельки. Удар получился несильным, но неожиданным, Люся зас-

какала на одной ноге, сморщившись от боли. Геннадий обернулся, и на его лице отразилось едва заметное участие.

— Где?

— Ерунда, заживет!

Наконец-таки он причинил ей боль!

— Прости, я нечаянно.

Ответом ему был мокрый, горячий поцелуй.

Сопровождаемые выкриками шоферов, они выбирались из лавины машин; на их счастье, показался полосатый, как зебра, переход, достигнув которого они слились с толпой и стали обычными пешеходами.

1972.





ПОБЕДИЛ ВОЙНУ

Небольшого роста, худой, плохо выбритый человек, от которого живого слова не услышишь, вызывает чувство брезгливой жалости. Это Сеня Хаустов. Тридцать второго года рождения. Из тех, кто оказывается всегда на отшибе, в последнем ряду или крайний в очереди. Иногда кто-нибудь по забывчивости обратится к нему, но, припомнив, скисает: «А-а...»

Сеня заика, и в этом все дело. Есть у него жена, почтальонка Галя, так вот она сочинила историю: будто Сеню в сорок втором угнали в Германию и там... А что там? Как подопытного кролика использовали? Галька настаивает именно на этом: как подопытного. Но с Сеней все случилось раньше, по пути в Германию.

Поселковые мальчишки и девчонки, которыми был набит вагон, очухавшись, разоружили конвоира, его же винтовкой проломили дырку в полу... Именно тут поищем затемнение, которое нашло на Сеню: мелькают шпалы, упасть надо коровьим ошметком, иначе обрежет колесами руки-ноги или вагонная ось подровняет затылок. Совершил-таки невозможное в свои десять лет Сеня Хаустов — прыгнул, но дорого ему этот прыжок обошелся.

Сейчас Сене к сорока пяти, и он давно уже ничего не пугается. Но если возбужден, то вращает белками и по-прежнему мычит: «М-м-м...» Галька каждый раз подталкивает его, мол, переходи на знаки, но Сеня дает резкую отмашку: «Нет». Сказать ему хочется многое. Хотя бы и своей Гальке. Та не рожает, но кивает на Сеню, дескать, что взять с такого мужика? Это когда она на почте раздергивает газеты с товарками, и Сеня не слышит. А Сене хотелось бы детей, это видно по тому, как он смотрит на них. Но не судьба...

Поселок делится на две половины: одна напоминает городской микрорайон, другая — село с вытянувшимися по правому берегу реки деревянными домами. В одном из таких домов и живет Сеня Хаустов. Дом старый, довоенный, чудом сохранившийся.

Забрался как-то Сеня на крышу прикрутить разболтанный шест телевизионной антенны, и вздумалось ему посмотреть на то место, где он две минуты назад кормил кур. Его там не было. Куры все так же кланялись лоснящимися шеями земле, кошка свешивалась с забора, а где он? Вот же только что стоял, и уже не посмотришь — как! Ведь стоял же? Так почему нельзя посмотреть на того, себя, стоявшего? Сеня всхлипнул от неожиданного открытия, и блестящие, как два угля, глаза его разгорелись. Он забыл, зачем сидит на теплом ребре крыши.

Такие вещи приходили ему в голову и раньше. Всякий раз вспоминалась тихая, сухонькая бабка, когда он видел дымящуюся на столе картошку. И вот нельзя было взять эту картошку — рассыпчатую, ароматную — бабке в сорок первый год. Прошмыгнуть мимо толстозадого немецкого денщика и... Глядишь, осталась бы жива старуха. Теперь он точно знал, что бабка спасла его от голодной смерти, и ему все время хотелось накормить ее.

Или вот такое как обдумать: земля носит человека и без его ведома старит. Он только хлопает глазами, а поделать ничего не может. Давно ли Сеня подобрал котенка возле кочегарки, и он прыгал на плечо от его еле слышимого «ксс», а сейчас тюфяком — вона — на заборе. Выходит, все живые на земле пойманы, хотя кажется, что они свободны и могут ехать, куда вздумается. А куда? Это «а куда» смешит Сеню больше всего. Он видит, в поселке покупают машины и разъезжают в них, перевязанные ремнями, словно фельдмаршалы. Но от самого себя разве уедешь?

Даже самый умный в поселке врач Аникин и тот не знает, откуда взялось безостановочное движение шарика? А тут еще полеты космонавтов... Они растревожили Сенину фантазию, и однажды ему приснилась планета с обратным, что ли, движением: там люди, наоборот, молодели. Прилетали стариками, а улетали мальчиками, чтоб на Земле вновь состариться. Сеня даже опоздал тогда на смену, что с ним редко случалось.

В кочегарке при поселковой больнице Сеня работает много лет. Народ на этой работе не держится из-за ее сезонности, но Сеня прикипел, не уходит. В сменщиках у него вышедший на пенсию слесарь Ваганов и один из запивших футболистов (кажись, Веня), от которого ушла жена.

Ваганов дает пар больше умом, чем руками, а Венька — ломовик, на лопату налегает. Смены вообще-то проходят спокойно, за исключением открытия футбольного сезона, когда Вениамин напрочь исчезает. Старика Ваганова не трогают, остается Хаустов... В такие дни к Сениному дому подкатывает машина с красным крестом, выходит сам главврач Аникин и просит Сеня заступить на смену. Пока Сеня напяливает сапоги, Галька налетает на Аникина, кричит ему про сверхурочные и профсоюз — она порядки знает. У главврача на этот счет заготовлено «Галина Викторовна» и «Товарища Хаустова мы поощрим», от которых Галька стихает. Никто с ней не обращается так вежливо, как Аникин, и кричит она больше для того, чтобы услышать, как ее имя-отчество произносят. На почте — Галька да Галька, а тут, пожалуйста, Викторовна. Сеня не любиточные смены, но, увидев бьющийся в топке огонь, успокаивается. Огонь ему по душе, с огнем у него связаны видения, которые всякий раз посещают его.

В огне Сеня летает. Забудется и летит. Над домами, речкой, огородами. Это у него навязчивое. Пересилить тот давний страх хочется. Радостно замрет сердчишко, екнет, зайдется что-то мучительно-сладкое в груди, и вот он уже парит над землей, как птица. Но вдруг спохватится, что он не птица, а всего лишь человек, и тогда его неудержимо потянет вниз, в черную бездну. Сеня помогает себе руками. Машет-машет ими, пока не очнется. А очнется, переживает свой полет заново и опять летит, теперь уже наяву. Проступают очертания странного, похожего на треугольного змея, аппарата, и Сеня — под этим аппаратом, ухватившись за холодные поручни, ощущает ужас происходящего: он, да, в полете!

И вот однажды...

Однажды главврачу Аникину удалось выменять старое зубоврачебное кресло на тонкие дюралевые трубы. Он их не считал: посмотрел — много, в бумажном мешке — и спокойно запер кладовку. Трубы нужны были ему для парника на огороде. В кладовке хранилось еще сто метров импортной водонепроницаемой ткани ярко-желтого цвета под названием «стилон», для чего — неизвестно. И вот все это пропало. Только бутыль со спиртом не взяли.

— Государственное имущество! — пилил Аникин короткой ручкой участкового Харитона, вызванного для расследования. Харитон, тридцатилетний сержант-верзила, слушал, наморщив лоб. Он привык иметь дело с шоферами и сейчас больше доверял отполированному до блеска полосатому милиецкому жезлу, чем Аникину; хлопал им по голенищу, поправлял фуражку, прикрывал зевки.

«Завхоз не мог, потому что на бюллетене», — выходил из себя главный. Он, разумеется, тоже не мог, дежурная сестра проработала двадцать пять лет... Остаются эти пройдохи кочегары: кладовка рядом с кочегаркой.

— Не показатель. Не оправдывает, — скептически отозвался Харитон, осматривая кладовку. — Где вы, к примеру, были вчера в двадцать ноль-ноль?

— Чево? — опешил Аникин.

— А все-таки?

— Над диссертацией работал.

— Кто подтвердит?

— Жена; она читала в соседней комнате.

— Не показатель. Вы могли спуститься и взять. Ключ только у вас, а окон в кладовке нет.

Аникин, удивленный тем, что Харитон рассуждает, качнулся коротким туловищем. «Черт с тобой, разбирайся сам!» Сержант усмехнулся и направился в кочегарку.

«Наверно, Венька загнал и пропил», — размышлял Харитон, чавкая по грязи. Участковый представил тонкие, отдающие холодным блеском дюралевые трубы и облизнул сухие губы: отличный стеллаж для книг, а из этого «стилона» — палаточка, лучше не придумаешь. И зачем они больницы?

На смене был Хаустов. Сержант поморщился, завидев смятую Сенину фигурку, и присел на выкрашенный в красную краску ящик с песком. Закурил. В кочегарке было тепло, пахло углем и нагретым железом. Сержант распахнул шинель. «Что, Хаустов?» — закричал он. Подбородок у Сени дрогнул, а глаза виновато забегали. «М-м-м», — замычал Сеня, показывая рукой в сторону больницы, но Харитон досадливо отмахнулся: «Работай уж». Он посидел с четверть часа, наблюдая за тем, как Сеня возится у топки, хотел сунуть окурок под крышку ящика, но, приученный к порядку (противопожарное имущество!), забрал окурок с собой. В ящике, стоило только поднять крышку, лежал и мешок с дюралевыми трубками, и рулон «стилона», прямо сверху, как нарисованные.

— М-м-м? — замычал Аникин, изображая Сеню.

— Сам ищи, — огрызнулся Харитон.

— «Не показатель», — передразнил Аникин.

Сержант прошел мимо с независимым видом, жонглируя регулировочной палкой, взревел желтым мотоциклом и помчался к старику Ваганову, чтобы от него уже к Вене (в таком порядке они живут). «Вряд ли Хаустов мог взять, — запальчиво рассуждал он, обдуваемый весенным ветерком, — Ваганов, кажется, — тоже, но Венька у меня не отвертится, я ему покажу, где раки зимуют». Он представил, как хватает

Веньку с поличным и везет к Анику: получай и заткнись. Харитон слов на ветер не бросает.

«А все же зачем главврачу эти трубки? — тоскливо думал по дороге Харитон. — Если врач, так лечи, а то одно баражло на уме. Вылечил бы лучше Сеньку Хаустова, чем заикой его представлять. На месте Сени я бы все у него переворовал», — мельнула у Харитона веселенькая злая мысль.

Участковый повидал и Веню, и старика Ваганова, но вернулся ни с чем. Ваганов: «Мне пенсии хватает, а работаю я, чтоб старуха дома не пилила»; Веню защитила жена: «Бутыль со спиртом цела — значит, не он». Составили акт, и Харитон не без ехидства заметил главному, что не пропало ничего медицинского, а взяли черт знает что, словно конфисковали. Аниkin не рассыпал или сделал вид... На том и кончилось.

Подоспел июнь, кочегаров, как обычно, уволили до сентября и о пропаже забыли. Меж тем с Сеней Хаустовым творились странные вещи. Однажды Аниkin, возвращаясь с дежурства, был поражен видом огромной, пролетевшей над ним «странной» птицы. Санитарный рафик неторопливо плыл по ночному поселку, Аниkin дремал у боковой двери, как вдруг зловещая тень кинжалом скользнула по капоту и скрылась в картофельной ботве. «Ы-ы!» — вцепился Аниkin в шофер, но тот пожал плечами. Аниkin не мог ошибиться: гигантская птица, оттолкнувшись от Сениной крыши, пересекла дорогу и улетела в огороды. Аниkin, выйдя из машины, поозирался, но больше чем на три шага от раскрытой дверцы отойти не рискнул.

Еще раньше Галька заметила, как Сеня запускал большого треугольного змея. Змей тянул в высоту, а Сеня проверял тягу, подвязывая к бечевке различной тяжести камни. Галька жаловалась на работе, что Сеня непускает ее в баньку; запрется, как сыр, и целыми днями визжит напильником. «Напильником ли? — смеялись почтальоны. — Смотри, прогоргаешь мужика». Галька не знала, на что и подумать. Отбился Сеня от рук, хотя и грядки политы, и картофель окучен.

Одно из июльских воскресений поселок готовился прожить как обычно: женщины — за морошкой, ребятня — купаться на реку, а мужчины — к стадиону, где разминались перед игрой футболисты. Никто не обратил внимания на прошмыгнувшего во двор строящегося дома щуплого человечка с длинным предметом в чехле. Каждый был занят своим в этой нескончаемой жизнью.

И вдруг не то вопль, не то возглас повис в воздухе: кто-то первым увидел ослепительно-желтый треугольник в голубом небе и сжавшийся черный комок под ним. Дельтаплан,

теряя высоту, проплыл над бегающими футбольистами, над белыми пятнами загорающих у реки и готов был врезаться в перепаханное на противоположном берегу поле, но попал в восходящий воздушный поток и набрал высоту. Его отнесло к старому кирпичному заводу, где он стал снижаться сначала плавно, потом резко, а тут и футбольное поле рядом. Уже можно было различить человека, лежащего животом на перекладине, и игроки вместе с болельщиками побежали к дальним воротам, но дельтаплан накренился, скользнул вдоль берега навстречу спасительному восходящему потоку и вновь был поднят им.

Стало ясно, что прилетевший — человек опытный, он умеет управлять аппаратом и быстро не сдастся, в смысле — скоро не сядет. Горохом высыпали жители на шоссе; шофер пригородного автобуса из-за скопления народа принужден был остановиться. Серебристо-желтый треугольник с черной прилепившейся «мухой» под ним на этот раз поднялся высоко.

В поселке прошел ропот. Закрытые домами люди по выкрикам, беготне почувствовали неладное. Аникин, собиравший клубнику на грядке, поспешил в больницу.

Через несколько минут санитарный рафик, завывая, мчался к скопившемуся на шоссе народу. Туда же подъехал с болтающимися на правой руке полосатым регулировочным жезлом Харитон.

Главврач и участковый, переглянувшись, уставились в небо. Вокруг разглагольствовали о том, что пассажир маленький, а змей большой, потому и не падает. Разочарованный Аникин готов был уехать, но внезапная догадка осенила его.

— Заика! Больше некому! — протиснулся он к Харитону. Харитон с улыбкой на лице таращился в небо.

— Заики не кричат, а он... Послушай.

Сверху неслись радостные вопли.

— Составляй акт, сержант.

— Разве что на войну, — ответил Харитон, поправляя жезлом фуражку. — Спишем подчистую.

— Не понял: какую войну?

— Ту, что Сенька победил; на это бумаги не жалко.

— Кричи, Хауст, кричи, — поддержали наконец узнавшие Сеню мужики, — накопил, поди, за сорок лет голоса!

1975.

ТУБА



Рядом с ним кончалось то, что мы называем существованием, и начиналась жизнь, пронзительная, прекрасно-трагетельная: и листья деревьев, и дома, и воздух, и урчащие на дороге машины — все окрашивалось в немеркнущий, первозданный, по-детски яркий цвет бытия, и смерти не существовало.

А еще возле него нарождалось редкое ныне чувство душевной защищенности. Можно было стоять, сидеть, идти, ехать, говорить или молчать — это чувство не исчезало и не отвлекалось привходящими условиями. У него было большое, как бы постоянно улыбающееся лицо, крупная фигура и вообще все крупное: руки, губы, нос, голова. Сердце у него было просто огромное. Он как бы целиком состоял из сердца.

Это сердце незримо охватывало вас со всех сторон, оберегая от суэтного и неприятного, и вы мгновенно успокаивались, переживая, может быть, лучшие минуты своей жизни. Лучшие — в зависимости от того, останавливал ли вас этот человек, или вы сами останавливались возле него.

Я прожил с ним немало хороших минут.

И тем мучительней ошибка, которую я совершил, когда хорошие минуты кончились.

Крутануть бы, черт возьми, жизнь назад и в том отрезке времени попытаться изменить ход событий! Что было бы тогда? О, тогда открывалось бы множество вариантов и тот, единственный, который каждый для себя оставляет, говоря: я все сделал, что мог... Я бы успокоился независимо от результата, да, это бы так и было.

— ... надолго?

Шел по улице, на которой Огородникovy жили в отдельном домике большой семьей. Петр Саныч (о нем рассказ), издали завидев меня, остался стоять у невысокого забора из штакетника. Глаза его дружелюбно поблескивали, лицо успело загореть, а одет он был, как всегда, просто. Он спросил, не требуя ответа, и я сразу попал под обаяние его редкой душевной организации, хотя из-за ложной стеснительности мне хотелось пройти мимо.

Этот вопрос мне задавали многие. Я уже не жил в посёлке, но родителей навещал. Одни спрашивали, лишь бы спросить, другие говорили, что только под старость и поймешь, какие получились дети, и я доброе дело делаю, если не забываю стариков, третью... Почему-то каждый стремился найти подтверждение сиюминутной своей мысли, и только в голосе Петра Саныча я уловил мгновенное попадание на мою волну, точнее — моей души. Чувствовалось, он дово-

лен, что я появляюсь каждое лето, что все идет хорошо и надо работать над этим хорошим, умножая его.

Я все еще стеснялся, но калитка была открыта; я вошел, и время, затормозив, потекло неторопливо, как и обычно возле него.

Разговаривали мы молча. Со стороны это могло показаться странным, но, в самом деле, слова не требовались. Петр Саныч произносил с редкими промежутками одно, два, ну от силы три слова; благодарный, что он касается общих наших с ним струн, я кивал в ответ.

...Мы погрузились в незабываемые картины прошлого, опоэтизированные, конечно, и оттого переживаемые сквозь толщу времени особенно сильно. Мы постоянно этим занимались.

— Не забыл сорок каш?

В глубине сада мелькнуло озабоченное лицо Клавдии Михайловны, жены Огородникова; прошли две его дочери, обе мне хорошо знакомые, в летних халатиках и сандалиях на босу ногу, поприветствовав меня на ходу поднятой ладошкой, лица у них были улыбающиеся — копия Петра Саныча. Обе замужние, с детьми. У Огородникова было еще два сына, один, старший, жил в поселке семьей, другой, младший, работал в Ленинграде футбольным тренером и летом показывался редко — разъезжал с командой.

Я ответил:

— Станок исправен?

Вот так мы разговаривали. Петр Саныч обращался к моей памяти, а я — к его или памяти поселка. У поселка память была на многое, а на станок — своя, особая. К Огородникову тогда приклеилось связанное с этим станком первое прозвище.

Десятка два поселковых мужиков война пощадила (пощадила в том смысле, что не послала их под пули, но выжала из них все, что могла). Завод, на котором они работали, выдавал военную продукцию. Какую-то второстепенную, а какую — об этом никогда не узнаешь. И завод — не завод, и продукция немудреная, а мужикам — бронь и срочная эвакуация. Берите завод на свои плечи и дуйте в глубь России; там, на подходящем сырье, гоните продукцию как можно скорее. Когда оборудование погрузили, то увидели, что для людей места нет, в один телятник придется всех запихать. А тут еще Огородников со своим токарным. Носится, кричит, требует станок взять. Ему отвечают, что такой станок они на месте найдут, незачем его тащить через всю страну, но Петр Саныч уперся — ни

в какую. Тогда ему сказали, что станок будет считаться его личным имуществом, сверх которого ничего не брать. Так и поехал Петр Саныч, сидя на станке с женой и детьми. Успел только ходики со стены сорвать. Да Клавдия Михайловна незаметно надела на себя несколько крепдешиновых платьев, не пригодившихся впоследствии, потому что на них она ничего не выменяла.

Вообще тогда паника была, неразбериха. Людей мучила неизвестность. Не верилось, что война всерьез и надолго. А как бросить нажитое: дома, скотину, огороды? В каждом доме кто-то остался, в основном, старики. Поехали налегке, надеясь скоро вернуться. Но... война затянулась.

Уехавшим начинать пришлось с нуля. Вот тут-то станок Огородникова и сказал свое слово. В далекой степи, едва наметились контуры будущего завода и бараков для рабочих, он заговорил первым. Без него просто задохнулись бы. И обратно Петр Саныч его перевез. И до сих пор на нем работает.

Я смотрю на руки Огородникова, узловатые, шершавые, с черными прожилками въевшейся металлической копоти и в то же время какие-то ласковые, я бы узнал их из тысячи. Из этих рук я совсем маленьким получил миску пшенной каши перед отъездом в родные места.

Узловая станция. Где-то под вечер. Настроение у всех унылое. В который раз задержали отправку эшелона. Хочется есть. Из телятника не выпускают. И вдруг веселый, с юмористическими нотками бас: «Стройся в столовую!» Идя от вагона к вагону, Петр Саныч набрал нас человек двадцать мальчишек и девчонок и повел через железнодорожные пути. В столовой, кроме каши, другой еды не нашлось. Но зато какая вкусная картошка! Никогда такой не ел. Остро пахнущая, с кружочком настоящего (сливочного!) масла посередине. Мы застучали ложками. «Еще?» — наклонялся к едокам Петр Саныч. Я от жадности захватил вторую порцию, но одолеть не смог. Мальчишки покрупнее съели по две миски, кто-то даже три. Когда Петр Саныч расплатился продовольственными карточками, оказалось, мы съели сорок порций. Так появилось у Огородникова второе и, как всегда, не обидное прозвище — «сорок каш».

«Ну почему он такой? — смущенно думал я, сидя рядом с ним. — Откуда в нем это?» В сорок первом люди взяли с собой теплую одежду, запасы пищи, он — станок. В сорок шестом на продовольственные карточки молились, тряслись над ними — он истратил их на нас. Чем труднее было, тем сильнее обострялось в нем особое какое-то чувство, которое

сразу и не назовешь... Кто он мне? Страшно подумать: никто. Не товарищ, не брат. По возрасту отец. А вот связаны мы историей великого испытания, которое выпало нашему поселку. И еще какой-то странной, сближающей нас общностью, возможно, пришедшей из глубины времени от наших предков.

Помню, возвратились из эвакуации. Что нашли? Все разграблено, сожжено. Стали искать родных, оставшихся здесь. Кое-как сами пристроились. Мужчины с утра дотемна на заводе. Огородников опять на своем станке творил чудеса. При перевозке всегда что-то теряют, ломают, а тут целый завод туда-обратно возили. Не то чтобы Петр Саныч вытачивал сложные детали, а позарез необходимые. И работал не по часам, а сколько нужно было.

Поселок вновь стал застраиваться, причем по одну сторону дороги появились дома с центральным отоплением, а по другую — одноэтажные коттеджи. В эти коттеджи никто не хотел въезжать: надоели печки и мытарства с дровами, надоело болото (вырыли яму для подполья — она наполнилась водой), надоела глина, из которой состоял приусадебный участок. Какая семья первой поехала? Ну, конечно, Огородникова. «Лет десять будет трудно, потом — легко», — весело отвечал соседям Петр Саныч, когда те пеняли ему на бытовые неудобства, в которые он сам залез и других затащил.

Сейчас Огородникову и его соседям завидуют: у них дома с догнавшими-таки удобствами, великолепными садами, и нет отбоя от желающих меняться. Петр Саныч то ли в шутку, то ли всерьез пугает гостей:

— Лбы у вас крепкие?

— ?

— Тогда прошу внимания.

Он нарочно запинается и падает. Гости озадаченно качают головами. Петр Саныч посадил несколько дубков, они сильно разрослись, и куда ни ступишь — одни корни. Петр Саныч доволен, что так получилось, нет худа без добра: в подполье зато нет воды, дубки ее не пускают. А еще он любит показывать на дырки в заборе; их проделывают пациенты, когда в школе начинается желудевая лихорадка. Самые близкие к школе желуди — Огородниковых, сюда и бегут ребята. И невдомек приходящим, что дырки эти проделывает он сам.

— Может, соберемся? — спросил Петр Саныч, с надеждой взглянув на меня.

Да, не мешало бы собраться нашему оркестру, игравше-

му когда-то в клубе на танцах, тем более, ребята далеко не разъехались, жили в Ленинграде или в Колпине, но меня больше тянуло на стадион, где что ни день, то игра или тренировка, футбольная команда, как и в мои годы, идет на первом месте в области, и можно не только «постучать», но и сыграть полновесный матч. На стадионе я считался своим человеком и даже как-то умудрился выйти за основной состав во втором тайме, перед этим тщательно зачесав на лоб волосы. Петр Саныч хоть и знал о моем увлечении, тем не менее считал меня музыкантом, и с моим появлением в поселке у него всякий раз возникла надежда, что мы соберемся и «дадим», как когда-то.

В свое время мы действительно «давали». Колоссальной фигурой в оркестре был сам Петр Саныч, игравший на... как вы думаете, на чем бы этот человек мог играть? Такой-то большой, улыбчивый, с губами для вместительного мундштука? Ну, конечно, на пузатой, как самовар, большущей оркестровой трубе, называвшейся коротко и ласково — тут у ба.

Оркестр наш родился при любопытных обстоятельствах. Когда после войны в поселке построили клуб, чуть ли не все население записалось в самодеятельность, кто в хор, кто в танцевальный кружок, а оркестров возникло даже два, струнный и духовой. Оба эти оркестра со временем стали соперничать на танцах, и у обоих получалось плохо. Духовой звучал так громко, что не выдерживали уши, а струнный настолько тихо, будто сидел под землей без надежды когда-либо выбраться оттуда. Репертуар быстро приелся танцующим, но играющие и танцующие были люди свои и потому терпели друг друга.

Когда один оркестр уступал место другому, на сцене творилось нечто невообразимое: слышался звон труб о балалайки, шум падающих с пюпитров нот, торопливые извинения тех, кто наступал на ноги (а наступать старались специально), словом, это был любопытный кусок жизни. И неизвестно, сколько бы он продолжался, если бы в клубе однажды в разгар танцев не погас свет. Оркестранты, не видя нот, умолкли. В зале возникла небольшая паника, но зажгли спички, потом единственную оказавшуюся у завклуба свечку, и повисла тишина, которую надо было чем-то заполнить. Послали за электриком в надежде на исправление повреждения, но время шло, а электрик не показывался. И вот тут со сцены послышались четкие переборы гитары, которую, немного погодя, поддержал аккордеон; робко попробовал мелодию кларнет, и неожи-

данно, с юмором рявкнула, как бы давая понять, что отступления не будет, только вперед, до победного конца, — т у б а... Так, посреди большого количества лежащих на стульях инструментов, в полутьме, вместе с вальсом, в котором пелось про ясные зорьки над городом Горьким, родился наш маленький оркестр. В нем оказались те, которым не надо глядеть в ноты. Оба оркестранта продолжали существовать, но на танцах заиграл наш, маленький, веселый, что-то вроде диксиленда. Мы так быстро пошли в гору, что стали получать приглашения из соседних клубов, а что касается нашего клуба, то он — расцвел. Только оркестранты на нас дулись, потому что на танцы их уже не пускали бесплатно, и почему-то мишенью они избрали Огородникова, в сторону которого неслось мстительно-застыльное: «У, т у б а...» Ему же пришили историю со светом: якобы он подговорил электрика вывернуть пробки. Петр Саныч взирал на это со свойственным ему спокойствием. У него даже обострилось чувство юмора. «Не узывай больше того, чем сможешь понять», — говорил он обычно какому-нибудь юнцу, приблизившемуся к авансцене и пытающемуся разгадать, в чем наш успех.

— Тряхнем стариной? — оживлялся Петр Саныч, поворачиваясь ко мне всем телом. Лицо у него молодело, как в те годы, когда он так неподражаемо играл на т у б е.

— Надо бы, — соглашался я, жалея его, но все-таки не представляя, кому будет интересно слушать фокстроты про Мишку и его улыбку? — На будущий год — точно, — заверял я Огородникова, присовокупляя такой план: куплю машину, и на этой машине мы всех соберем.

— «Обещалкин», — хлопал меня по плечу Петр Саныч, провожая до калитки и напихивая в карманы яблок, — спасибо, хоть не забываешь.

Я шел дальше по своим делам, мысленно давая себе зарок не огорчать таких людей, как Петр Саныч; раз он считает, что нужно собраться, — значит, нужно.

В очередной приезд я отправился к Огородникову с аккордеоном. Никакой машины я, конечно, не купил да и аккордеон, честно говоря, взял напрокат (своего у меня так и не завелось), но на душе было легко: вот, мол, Петр Саныч, назначаю вам первую репетицию, извольте побеспокоиться насчет т у б ы. Легкость моя шла от решения не вспоминать старое, а разучить что-нибудь новенькое. Единственное, что удручало, — встреча со знакомыми типа шурина Сысоева (тот увидит музыкальный инструмент и не может себе представить: как это идти и не наяривать на нем

«цыганочку»?), но напрасно я взвинчивал себя: никто меня не остановил.

Во дворе дома Петра Саныча никого не оказалось. Дом и сад были пусты. Я посидел в саду с яблоком в руке, соображая, куда бы это могло кануть столь многочисленное семейство, но дальше обычных предположений дело не пошло.

Спустя неделю я зашел еще раз, без аккордеона, и результат был тот же. Встревоженный, принялся расспрашивать своих родных, но они ничего не знали. Это меня не успокоило; всякого рода новости теперь не могли распространяться быстро, потому что поселок разросся, в нем появилось много людей, не связанных с его историей и просто этой истории не знаявших. Я обошел несколько домов (как обошел: не сразу, конечно, то с дочкой, то с сыном, то с обоими, медленно, потому что с детьми быстро ничего не сделаешь), и вот новость, которая вонзается в меня, как ржавый гвоздь в пятку: Петр Саныч лежит с опухолью в железнодорожной больнице, безнадежный.

Ах ты, мать честная... Чувствуя боль в сердце, побрел я домой, и мысли, одна горше другой, завертелись по кругу, как они обычно вертятся. Сначала я пытался отвергнуть то, что услышал, и какое-то время успешно с этим боролся, потому что сообщили мне люди малознакомые, а они могли ошибиться. Вот если бы хорошо знакомые — тогда другое дело...

Потом я перекинулся на невидимого и неосязаемого противника, что избрал Огородникова своей жертвой. Почему его? Добрейшего из добрых, честнейшего из честных? Ведь есть же такие, которым жить незачем, всякого рода опустившиеся (глаза б на них не смотрели), но не берет их ничего. А тут самого здорового, самого цветущего. Эти будут потом язвить: «Не пил, не курил, а... раньше нас туда угодил».

Одна мысль уступала место другой, более отчаянной: за что? Ну вот за что? За какие такие проступки? Столько сделал для других, с природой был ласков, за всю жизнь листочка с дерева не сорвал — не то чтоб зверя какого ушиб, а она, природа, ему чем? Не укладывалось все это в сознании. Значит, только в книгах природа наказывает бесчеловечных, как бы подтверждая миф о своей справедливости, а в жизни?

Не помню, как я возвратился с детьми, помню только, что бессильные думы увело меня на берег реки. Я знал, что меня будут искать, потому что вечером мы должны были отъезжать, а сейчас время сборов и связанных с ними хлопот.

пот, но ничего не мог с собой поделать. Сел на берегу и стал глядеть на воду.

Возле реки я немного успокоился. Из толщи коричневой болотной воды на меня смотрело кудрявое облако; изредка набегавший ветерок дробил его очертания. Вода уже отцветала, желтая ряска водорослей прибилась к берегу; скоро ее унесут дожди, что пополнят реку, станет холоднее, и шурята (отметил механически) начнут брать на блесну.

А что врачи? Могут ли они что-нибудь, кроме доступного разрезать-зашить? Я представил группу из нескольких человек в белых халатах, подбадривающих больных, в том числе и Петра Саныча, улыбками типа «мы еще поживем», но после обхода переглядывающихся и ничего не говорящих друг другу. Интересно, в чем выражается их бессилие? Курят, выпивают? Или ничего, привыкли, а кто-то накапливает материал, систематизирует?

И тут я опять переключился на Петра Саныча. Такой монгучий, крепкий, он не станет «матерьялом». Пусть врачи не могут — он может. Если не он, то кто? Успеет еще туда. Я представил его исхудавшее, изможденное лицо с виноватой улыбкой, как бы говорящей: «извини, брат, так получилось». И первым толчком, побуждающим к действию, было одно — немедленно ехать. Надо подбодрить земляка, мол, скоро соберемся на первую репетицию, или что-нибудь в этом роде, не важно, что скажу, важно, что приеду. С этой простой мыслью я подошел к своему дому и тут только вспомнил, что вечером отъезд, будь он неладен. Так и есть, на меня набросились, сделав выговор, но я объяснил, в чем дело, и попросил отпустить меня на несколько часов. Со стороны родных явилось некое непонимание, в том смысле, что я благородный поступок совершаю, но чем конкретно помогу человеку? А вдруг мой приезд пойдет во вред: Огородников развлечется, и это все, чего я добьюсь?

Дальше то, чего себе никогда не прошу: часа два или три мучительного бездействия. Собирать в дорогу мне решительно нечего: одежда на мне, а зубную щетку и электробритву я кладу в карман. Детское соберут и без меня. До железнодорожной больницы при удачном стечении обстоятельств можно добраться за час, но я не вышел на шоссе с пылающим взором, какой у меня бывает, когда мне что-то нужно. Решимость моя (причинять боль кому бы то ни было не в моей натуре) поколебалась; я в самом деле задумался о возможном последствии своего поступка...

Скорей не малодушие, а медленнодушие это было — некоторое замедленное созревание души, еще не знавшей до сих пор

самых горьких потерь. Разрушительной или созидательной получилась бы встреча, я не в силах был предсказать. Это стало ясно через несколько часов, когда я впился глазами в старое кирпичное здание железнодорожной больницы, прокочившей слева по ходу поезда. Возникла даже не мысль, а, как обычно, робкое предчувствие, что увидеть Петра Саныча необходимо было. Пусть не для него.

Конечно, я должен был проститься с ним. Схватить аккордеон, гитару, что там еще? И ехать. Играть. Петя. Ходить на голове. А еще лучше — привезти его любимый инструмент. По-разному прощаются друзья, мне нужно было проститься с ним так. То, что он был мне другом, дошло до меня слишком поздно.

Когда Петра Саныча хоронили, а это произошло очень скоро, собралось много народа. Весь завод вышел проводить его. Я вылетел по телеграмме, в которой стояло одно только слово: «Т у б а». Меня встретил на аэродроме в полном составе наш оркестр. Спустя двадцать пять лет мы поздоровались. Поседевшие мои мужики отводили в сторону глаза: каждого Петра Саныча просил помузенировать, и каждый обещал. Ну как просил... Робко, как вообще это было ему свойственно: «Может, соберемся, а?» И вот он нас собрал. Меня ко всему прочему грызла тоска, что я не повидался с ним в последнюю минуту, но кому, кому я мог — об этом?

Грызет она в до сих пор. Уж прошло много времени, мы с Клавдией Михайловной, женой Петра Саныча, несколько раз встречались на кладбище (она как только увидит меня, кроме слов «какой был человек!», ничего больше сказать не может), сиживал я у нее дома за чашкой чая и однажды поведал о своей душевной промашке. Клавдия Михайловна, ни слова не говоря, вложила в мои пальцы мундштук, на котором играл Петр Саныч. Словно проверила: ну? Я вздрогнул, как от ожога. Понял: натыкаясь в квартире на вещественную память о нем, ее пронзаet боль, по сравнению с которой моя...

Да, душевная боль — особого рода боль, она долго живет в человеке, помогая ему оставаться им, и если о приобретениях мы часто забываем, то о потерях — не сразу, а может быть, никогда.

Мне остается утешение.

Я утешаю себя тем, что в каждый свой приезд общаюсь с Петром Санычем. Думы мои о нем высоки, светлы. Идешь мимо клуба, там, на первом этаже, в угловой комнате, висят на стене инструменты духового оркестра — сразу Петр

Саныч предстанет перед глазами со своей тубой, улыбающийся, заговорщически подмигивающий. Я непроизвольно сжимаю в кармане мундштук, подаренный мне Клавдией Михайловой.

В нашем Петре Саныче что-то было от ребенка. Любил озорничать. Бывало, идем зимним вечером в отдаленный клуб, трубач с кларнетистом, боясь за свои дудки, прячут их под пальто, а Петр Саныч посмеивается над ними, сам слит со своей тубой — будто родился с ней, и вдруг грянет этаким пароходным гудком посреди морозной тишины... А по приходу уверяет заведующего клубом, что инструмент совершенно промерз, и чтобы отогреть его, нужно влить внутрь не меньше литра... Долго он донимает заведующего этим литром, пока наконец не добавит — горячей воды...

Не было у него личных вещей. Были вещи, которые принадлежали его семье, детям, а лично ему... Не помню. Мы сейчас чем только не закрепощаем себя, каждый что-то в руках держит, в глазах беспокойство за это что-то. А он? Он был свободен. Его не коснулось даже время транзисторов, которыми стали одаривать уходящих на пенсию.

Как-то пошел на болото за гонобобелем; долго огибал заводские корпуса, скрывшиеся за бетонным забором, наконец попал на знакомую тропку и так обрадовался ей! По этой тропке мы мальчишками ходили по ягоды, а до войны здесь была узкоколейка, по ней возили торф. Раньше она шла через цеха, которые восстанавливались, не существовало никаких заборов, и обязательно мы проходили мимо открытых настежь ворот ремонтной мастерской. Завидев ребятишек, Петр Саныч выключал станок и показывался в черном проеме. Он был в замасленном комбинезоне, от него пахло горячей металлической стружкой. Всегда мы ждали от него чуда, и всегда он его совершил: то сделает нам ножички из стальных обрезков, то сходит в пекарню и вынесет горячего обжигающего хлеба (тогда хлеб пекли при заводе), а если хлеб не готов — кислого, шибающего в нос квасу, то просто даст на точиле побаловаться: приставишь железку — сноп искр летит. Тогда это было ни к чему, но сейчас вижу: каждый раз с ним работали новые люди. Никто там не задерживался. Значит, Петр Саныч зарабатывал не так много? Да, он работал мастерски, а зарабатывал мало...

Нет смысла перечислять детали, по которым всплывает в памяти мой друг. Воспоминания о нем по-доброму щемят душу, не то что воспоминания о себе. Но об одном расскажу.

Конец августа, Московский вокзал в Ленинграде, мы с женой, озабоченные, как всегда, одним и тем же — не потелись бы дети и вещи, двинулись на свой поезд. Уж тут не смотришь по сторонам, добреши бы скорей до вагона, но надо же: младший сын Петра Саныча, столкнулись носом к носу! Мгновенно узнали друг друга, потому что играли в одной команде, и вообще он считался гордостью поселка — стал мастером спорта по футболу, что не часто бывает. Как говорится, сто лет не виделись, а тут — в толчее, когда торопишься, словом, в неподходящий момент встретились. А ему, смотрю, хоть бы что, подхватил моих детей на руки, улыбается, вносит в вагон, помогает расположиться. Времени в обрез, разговор скакет, как футбольный мяч в штрафной площади. Для дочки у него нашлась конфета, а для сына... Он провел ладонями по лацканам пиджака и очень знакомо подмигнул. Сняв значок мастера спорта, он со словами «заработаешь — отдашь» прикрепил его к курточке сына.

И ушел, окатив неожиданно-теплой, чисто огородниковской волной. Пронзило, помню: такое же редкое, как у отца, большое сердце, только молодое!

1981.





СЕЙЧАС ВСПЫХНЕТ

Посреди большого прямоугольного двора, где пересекаются несколько пешеходных дорожек, стоит на подпорке крышка канализационного люка, извещая прохожих о том, что в теплой смрадной глубине находится человек, и когда он высовывается оттуда по пояс, кажется, будто — из танковой башни. Глоток свежего воздуха, и человек уходит на дно.

Окна пятиэтажек сочувствуют Сереге Журину: мало приятного в субботний день надевать брезентовую робу и лезть за застрявшей в трубе мочалкой. Но вода перекрыта, бочка откачала жижу и уехала. Теперь очередь за Серегой.

Не все сочувствуют. Многие находят, что Журин оборзел: поначалу занимал и отдавал, потом перестал отдавать, а сейчас в третьей стадии — предупреждает, что не отдаст. Совсем уж. Пусть в колодце посидит, пьянячужка.

Серега не спешит. Часом раньше или позже вытащит он мочалку (или что там?), результат один: с этого не заимеешь. Зарплату его, кровную, вот уже год получает ловкая Зинка, всаживая деньги в ненасытный дочкин кооператив. В долг никто не дает, собирать пустые бутылки, как это делает его ровесница Тамарка Юсова, гордость не позволяет. Не жизнь — жистянка!

Для облегчения крутящего момента Журин использует привязанный к проволоке газовый ключ. Упершись болотными сапогами в илистое дно, тащит. Тащит и крутит одновременно. Кажется, зацепилось. В следующий раз он без противогаза сюда не полезет. Тугой ершистый комок плюхается ему в ноги. Серега весь в стадии узнавания, таращит глаза, держа на весу проволоку... Вроде бы полотенце. Да,

махровое. Слышится вздох разочарования, после которого Серега вылезает наружу. Если б трусы или бюстгальтер, он дознался б и выканючил на бутылку, а с полотенца нечего взять — ничье оно.

Серега отдыхает на траве под тополем. Не о том, чтобы опрокинуть стакан, думает он. Если б только об этом... Все, кто окружал его когда-то, незаметно профессиями обзавелись, а он как был, так и остался работягой. В коммунизм поверил, дурак. На что Гоня Филин тупарь-тупарем, и тот на бочку перешел. Откачал и уехал, а он сиди. «Люди, люди... Где ваш коммунизм? Только и знают... А еще в белых брюках ходят».

Подошла Тамарка, молча посочувствовала. В поселке ее знают как припадочную, а когда хотят досадить Сереге, дразнят «женой». Так и кричат: «Беги, твоя упала!» Серега в таких случаях не мешкает. Припадок может застать Тамарку в любом месте, главное, чтоб она не захлебнулась собственной слюной. Прохожие, если это случается на улице, брезгуют и обходят Тамарку стороной, а Серега... Убедившись, что она не стукнулась головой и не подвернула руку, Серега обязательно поправит платье и сидит в сторонке, курит. Ровно через двадцать минут Тамаркин храп прекращается, она встает и идет по своим делам, а Серега — по своим.

Никто не хочет вникнуть. Приклеили ярлык «эпилептику», дали собачью пенсию и все. А Тамарка вовсе не эпилептик, а инвалид войны. Все это произошло на Серегиных глазах. Ее молотил немец сапогом по голове. В сорок втором году, как сейчас помнит. Им по десять лет тогда было. Немцы сделались злые от того, что Питер не взяли с ходу, вот и стали угонять мальчишек и девчонок в Германию. Тамарка не могла отлепиться от бабки, ей и попало. Прямо во дворе немец пинал ее, Серега видел. С того времени и начались припадки, а до этого их не было, Серега может подтвердить. Почему Тамарка осталась с бабкой, он не помнит, но хорошо помнит, как отец не взял его с собой на фронт. Привел к Юсовым и сказал: «Здесь меня дождешься». А сам исчез, даже винтовку не оставил. Вместо него пришли немцы.

Как бы хорошо Серега ни относился к Тамарке, внешне он старается это скрыть. Например, стеклянную посуду в руки не дает, а подбрасывает в сарай; лекарства, нужные Тамарке, достает окольным путем и т.д. Сейчас Тамарка догадалась, что на душе у Сереги муторно, и принесла бутылку пива. Серега видит бутылку в Тамаркиных руках. Господи,

он с утра вычислил ее, вот она, рядом, желанная, утоляющая жар души и тела, но окон, фиксирующих каждое движение сантехника, слишком много... В итоге Серега прогоняет Тамарку, не дав ей рта раскрыть. “Мотай, «женушка»!” — глухо рычит он и ныряет в колодец. Некоторое время Тамарка стоит с протянутой рукой, недоумевая, зачем Серега разыграл этот спектакль, потом уходит. Серега выныривает, хочет позвать Тамарку, но зеленый мешок скрылся за углом.

— Эй! — раздался скороспешный деловой голос.

Серега на всякий случай поднял голову (а вдруг — его), но нет, не его, просто остановились неподалеку двое, в одном он признал терапевта поликлиники Спирова, а другим был узкобедрый незнакомый парень в таких линялых джинсах, будто их вся Америка носила, не могла износить. Серега занял прежнюю позу, но в ту же секунду получил пинок в бок.

— В Эстонии один тыщу люков обслуживает, а ты на первом заснул. — Над ним стоял незнакомец и рылся в бумажнике.

— Полотенца там небось не спускают в унитаз, — огрызнулся Серега, вставая.

— Дуй, сам знаешь, куда, — приказал парень, — через полчаса встретимся на стадионе.

И запружиnil в своих линялых дудочках.

— А сколько брать? — спросил Серега, не веря, что у него в кулаке пятидесятирублевка.

— На все, — донеслось.

Вот так нежданно-негаданно нарисовался Сереге Журину стакан, который и был ему преподнесен за доставленные от магазина до стадиона «четвертинки». Дали еще сигарету и знаком показали, чтоб отчаливал. Обиженный Серега сел поодаль и закурил. Все равно по телу разлилась приятная теплота, он сделался талантлив, захотелось подвига и всеобщего признания, но ничего подходящего для проявления этих качеств под рукой не сыпалось; Серега привычно опрокинулся спиной на лавку и задремал.

Побыстрей бы кончали, он собирает для Тамарки Юсовой посуду, как обычно делал, но парни (их было четверо) не торопились. Тот, в джинсах, предлагал: он везет их за двести кэмэ в деревню, там осетины построили коровник, но без крыши (шифера не было), теперь шифер появился, но осетины исчезли, короче, нужно срочно доделать. По тридцатке на день он кладет им (Серега навострил слух). Парни согласились и стали обсуждать проблемы инструмента, харчей, жи-

лья... Но вот прозвучало: «Послезавтра в одиннадцать», и разговор смолк.

Журин, поднятый на высоту тридцати рублей, которые можно зашибить за день, и обозревающий оттуда несчастную жэковскую трешку, вдруг догадался, что вербовщик не кто иной как Веня по прозвищу Хан, тот самый Веня, о котором в поселке столько слухов. Ну, он рвач, хапуга, сминающий ребят на сторону и не всегда платящий им; а с другой стороны — не пьяница, не мот, кооператив построил в городе и стариков-родителей с собой забрал, вообще, человек рисковый, но умеющий жить. И к Журину, столько раз мечтавшему напастить на след этого дельца, Веня приходит сам.

Разговор возобновился, но голоса стали приглушеннее. Лица парней, поначалу недоуменные — как это они, которым послезавтра к восьми на работу, смогут к одиннадцати собраться и ехать в неизвестном направлении, сменились на понятливые и где-то даже смыщленые. Хан предлагает шевелить мозгой: как можно исчезнуть на неделю и в то же время быть здесь? Задача как бы не из этой жизни, и вот один уже не в силах ее разрешить: насупившийся от выпитого и неспособности распоряжаться серым веществом (привык, что за него это делают другие), поднимает руки, в смысле, «я — пас». Веня провожает его, напоминая о том, что разговор останется между ними; двое других, покрепче нервами, согласны кое-что предпринять. У одного есть возможность взять за свой счет, а другой согласен «заболеть», но как сделать, чтобы терапевт Спиров поверил?

«Пустое дело, — размышляет Серега, — Спиров человек неподкупный».

Из футбольной раздевалки вышел мужик в спортивном костюме, местный тренер, значит, скоро игра, и Веня предложил собраться на этом месте после игры.

Серега пошел за Веней, ощупывая пустые бутылки. В накладных карманах его презентовых штанов можно скрыть хоть ящик, но в этот раз они оттопыривались слабо, всего четыре, остальные Веня понес в робе. Они подошли к стоящей возле клуба легковой машине. Веня спрятал в багажнике водку, а робу с предусмотрительно воткнутой в нагрудный карман четвертинкой протянул Сереге в виде платы за услугу.

— Всех на водку меряешь? — спросил Серега, отступая назад и пряча руки за спину.

Веня с такой силой швырнул робу, что та на какое-то мгновение прилипла к Сереге, а четвертинка полетела дальше, превратившись в сверкающую льышку, от которой осталось мокре пятно на асфальте.

Серега двинулся на Хана, медленно вынимая из кармана газовый ключ, кривя ноги для большей устойчивости. Хану некогда, у него дел невпроворот, но перед ним живой человек со своим маленьким вопросом, и придется уступить: невыясненных отношений у него с людьми нет.

Хан прищурился; он не понимал, как это — он налил человеку стакан, а тот взял да покатил на него бочку. За что? Серега понял, что переиграл, и быстро сменил пластинку:

— А еще...крестник.

Сунул ключ в карман и нагнулся за робой. Веня взял его под локоть и отвел к машине.

— Повтори.

Серега облачился в робу, поддернул штаны и короткой пятерней провел по курчавым выцветшим волосам.

— Крестил я тебя в пятьдесят четвертом. Должен был брат твой, покойничек, а у него — свидание с девчонкой, сунул мне деньги, ну я и отвел тебя к попу.

Веня плялся на Серегу, соображая, что бы могли значить поп и пятьдесят четвертый год, но так и не врубился.

— К концу второго тайма.

Хлопнул дверью и уехал. А Серега пошел домой, обдумывая, как неожиданно для него все обернулось.

Вениамин слыл когда-то заядлым футболистом: играл в нападении, потом в защите, обычно игры — по воскресеньям, одно воскресенье — здесь, второе — на выезде, но выигрыш или проигрыш футболисты по неписаному закону отмечают, а уж дальше... Существует целый клан поселковых страдалиц — футбольных жен, которые успокаиваются лишь тогда, когда их молодые мужья перестают играть. Но пока игры продолжаются... Повезло Вене в этом плане или нет? Его Майя поставила вопрос ребром: она или футбол. Все футбольные «майи» так делаются, но ни у одной не хватает решимости развестись на этой почве с мужем. Майя решила попугать Веню, а Веня решил попугать Майю, согласившись на развод. Вот так и попугали друг друга.

Игра кончилась, два кореша, что ждали вербовщика, ушли, не дождавшись, а Серега все сидел. Изрытое шипами футбольное поле погрузилось во мрак, лишь ворота белели в темноте. Серега пожалел, что скинул робу, потому что ко-

мары доставали через рубашку, и уже намеревался отчалить домой, как впереди вдруг послышался топот десятка пар ног и учащенное дыхание. Серегу сдернули с трибуны («Эй, канализация!») и спросили, в какую сторону пробежал человек. Испуганный Серега показал в сторону строящейся пятиэтажки.

— Вот за это спасибо, — сказал Веня, вылезая из-под трибуны и вытирая ладонью окровавленную щеку, — а насчет того, что я твой крестник, ты соврал ведь?

— Я никогда не вру.

— Крестник я твой с этой минуты.

Серега догадался, что Веня дал по уху утреннему собеседнику, ну, этому, первому, которого просил не болтать, но тот, видимо, не сдержался.

— Скорей. А то зло сорвут на машине.

«Жигули» мягко прошли поселок и в дальнем конце его, самом тихом, у кладбища, остановились. Веня включил верхний свет и осмотрел щеку в зеркале. Достал из кармана носовой платок и, смочив его водкой из вскрытой четвертинки, обмыл щеку.

— Раньше попадались просто дураки, а теперь — дураки с инициативой! — горячился Веня. — Не хошь ехать — твоё дело, но трепать-то зачем? Из-за него к дочке не попал.

Запахло спиртным, Серега заерзал на сидении и зачесал руки.

— Много стало баб среди мужиков, — не унимался Веня, прикладывая палец к ссадине. — Полей-ка!

Веня выставил руки наружу, но у Сереги не хватило духу наклонить четвертинку, и Веня наклонил ее сам, вылив до конца. Бутылка прошуршала в траве. Ладони защищало, и Веня спрятал их под мышками, одновременно вытирая.

Серега проглотил комок. Веня это заметил и сказал:

— Я вздремну, а ты достань из багажника сумку, там ... найдешь.

И с этими словами расчетливым движением откинулся назад вместе со спинкой.

Веня продолжал спать в линялых джинсах и голубоватой куртке. Кроссовки с пятнами засохшей грязи уперлись в ключ зажигания. В сумке кроме спиртного и хлеба оказалась тушеная курица и голландские мясные консервы с красной этикеткой. Одну четвертинку Серега сразу выставил, а над едой колдовал, ожидая, когда Веня проснется.

Веня не просыпался, и Сереге стало противно, что он сидит и дожидается подачки, а Зинка, какая бы ни была, на-

верно, в сердцах гадает, где его, черта, носит... Открыл дверцу, обошел машину. Ногой нащупал пустую бутылку, только что выброшенную, и по привычке спрятал в карман для Тамарки Юсовой.

Близость кладбища угадывалась по сварливому клекоту переговаривающихся на деревьях ворон. Серега, сам не понимая, почему, осторожно двинулся на звук. В темноте он дошел до скамейки. Дальше начинались оградки и памятники, покато уходящие к реке. Сел на скамейку, предчувствуя, как сердце сожмется от страха, и это случилось. Видно, не избавиться ему от страха апреля сорок второго года.

... Немец заходил в избы и выгонял подростков. В один из его заходов Серега, улучив момент, метнулся в сторону кладбища. Он решил укрыться в фамильном склепе купца Климентьевича; был такой купец и такой склеп.

Исчезновение Сереги осталось бы незамеченным, если бы не Тамарка. Тамарка тоже побежала... Господи, зачем? Уже после войны Серега подумал: «Дурочка...» А тогда сердчишко трепыхнулось. Но кто приучил Тамарку бегать сзади? Не он ли? Он — искать дрова, Тамарка — искать. Он — к пищевой помойке, она — к пищевой. Немцам удалось сбить наш истребитель, бабка крестится, не пускает их к самолету, но Серега вырвался и побежал, скосил глаза — Тамарка дышит в спину. Как нитка за иголкой. Женился бы Серега на Тамарке, если бы не тот фашист.

Немец дал предупредительный выстрел в воздух и в два счета настиг беглецов. Тамарка упала от слабости, а Серега прошмыгнул в узкий лаз. Немец наставил в дыру автомат, но... Лаз проделали когда-то злоумышленники, надеясь поживиться, а потом им стали пользоваться мальчишки, испытывая друг друга на храбрость. Серега панически боялся этой дыры, но теперь... Теперь он в убежище решил дождаться отца. Отец придет с винтовкой и спасет сына. Так и дождался бы Серега не отца — погибель свою, если бы не Тамарка, она позвала его... Когда они спустились к реке, то услышали за спиной оглушительный взрыв. Не иначе как немец сбежал за гранатой или толовой шашкой. Черномраморное, обросшее мхом надгробье купца Климентьевича, простоявшее сто лет, сорвало с места и отнесло в ольховые кусты к воде.

... Давно Серега не бывал здесь. И теперь его потянуло к тому месту, где они с Тамаркой сидели, прижавшись друг к другу, пережиная страшный день. Тамарка все порывалась уйти к бабушке, но Серега крепко держал за руку: туда до-

роги не было. Несколько дней шли лесом, пока не наткнулись на партизан. А партизаны перебросили их еще дальше, к югу, и вот тут они попали в разные детдома, потерялись в большой стране. Только после войны встретились, и где? В школе, за одной партой. Но доучились лишь до пятого класса. Как в пятом появилась немка со своим «битте», так у обоих не стало желания ходить в школу.

От резко вспыхнувших в темноте автомобильных фар у Сереги поплыли разноцветные круги перед глазами; подъехал Веня.

— Военное детство?

Желание ударить Веню на миг ослепило Серегу (он даже представил, как это получится)... Отпустило. Хан приветливо распахнул дверцу. Так приветливо, что разве устоишь... Все же он пробурчал:

— Войну не трожь.

...Из уютного чрева машины доносилась музыка. Веня завернул еду в пластиковый пакет, закурил, пуская дым в приспущенное стекло, и стал крутить ручку настройки приемника, останавливая бегунок там, где прослушивался твердый ритм. Серега не утерпел, попросил: «Бери на коровник...»

Сигарета была искурена и выброшена, ритмическая музыка сменилась пением... Серега не без восхищения отметил, какое это искусство молча отвечать на тот или иной вопрос, по сути, он проиграл молокососу, не приступая к схватке, а ведь он задумал ее выиграть. Опять в нем всколыхнулась гордость, он буквально выкатился из машины и зашагал прочь.

Веня ехал сзади, светил в спину и хохотал.

Потом Веня пристроился сбоку, время от времени дергая Серегу за рукав и предлагая потолковать.

— Боюсь, ты ничего не умеешь делать, — говорил Веня из кабинки. — Вот сейчас приедем и сразу — под фундамент землю копать. Чем? Лопатой? (Веня заржал.) А колхоз дает экскаватор. Хорошо, я — за рычаги, а ты со сторублевкой сможешь бетон на шоссе поймать, да так, чтоб никто не увидел?

— Без моего детства не было б твоего, — огрызнулся Серега.

— Сумеешь щи сварить?

— Если ты меня не возьмешь, тебе будет очень плохо, — с дрожью в голосе сказал Серега.

— Ну, отец... — Веня даже растерялся. — С тобой не соскучишься. Хорошо, я рискнул, сдернул тебя с насиженного места. Сколько можешь ты прожить трезвой, монотонной жизнью?

Серега молчал.

— Или ты надеешься лежать на земле за тридцать рублей?

Журин явно что-то недопонимал. Но Веня опять помедлил...

— Две недели. Запросишься домой, потому что ни выпивок, ни бабы, ни свежего белья. Но и ты пойми: у меня договор на несколько объектов, колхозники ждут.

— Ты про крышу толковал.

— С полтыщёй в кармане покажешься в поселке. А дальше — язык до земли как отсутствие фантазии. Где, сколько, с кем. На работе тебя не восстановят — в итоге виноват я: зачем взял в систему человека, для которой он не подходит?

— ... говорил — на крышу.

— Крыша — для приманки. Через неделю начнут картошку дергать из земли, а сортировочный пункт под открытым небом. Пока дожди не пошли, срочно нужен навес, большой крытый навес. Фундамент, опоры, а потом уж крыша.

— Тогда на эту крышу бери, черт тебя дери! — вспылил Серега.

— Достанешь сварочный аппарат к понедельнику, — неожиданно согласился Веня, — возьму.

...И вот наступило утро понедельника. Журин встал на обочине шоссе, прикрыв широкими брезентовыми штанами четырехугольный металлический ящик, который украл на стройке; на голове топорщилась сварочная маска. Веня прокочил на огромной скорости, и у Журина упало сердце. Вот так: он никому не нужен, его можно отбросить, нет, не отбросить, а даже не считать. Отбрасывать — это ведь совершают какие-то действия, тратиться, а не считать — чего проще? Он стащил маску, вытер испарину, и возникло желание столкнуть аппарат в канаву, но Веня прокочил в обратном направлении. Затеплилась надежда.

Не получалось у Вени с вербовкой. Он проскакивал несколько раз. Пустой. Терапевт Спирров стоял, как скала, а значит, шансы Журина возрастали.

Вышла к реке Тамарка Юсова с потерявшим цвет, сшитым когда-то из зеленого половика мешком. В воскресенье в складках берега допоздна ютятся группки. А утро понедельника для Тамарки — самое время. По ее наклонам Серега понял, что урожай есть — на вырученные деньги она купит мешок сухарей или сноп макарон. Люди смеются над тем, как Тамарка боится голода, но это неистребимо. Смеются

те, кто не знает. А Серега знает, пережил. Самое неприятное для него, когда с Тамаркой «шутят». Мешок отберут или платье порвут. Вот и сейчас два бугая, от ничего делать, решили позабавиться.

Подъехал Веня, крикнул с напускной суровостью:

— Готов?

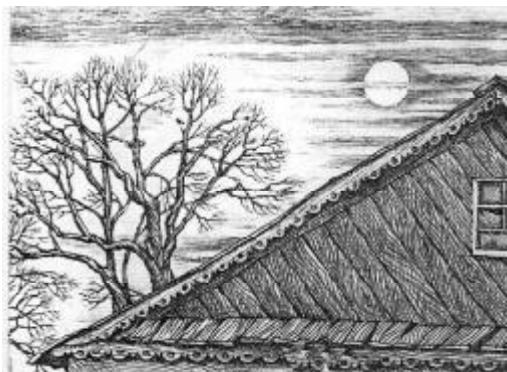
Серега кивнул, а сам взглядел тянулся к реке, моля о том, чтобы Тамарка бросила мешок и побежала, а эти два шакала отстали, поняв, с каким человеком имеют дело. Забава разгоралась у Сереги на глазах... Чтобы уехать со спокойным сердцем, он должен вмешаться, как вмешивался прежде. Иначе — не уехать опять.

— Грузи, я мигом! — скомандовал он Вене.

Брезентовым клубком скатился под обрыв.

Еще не вспыхнула мыслишка, что никуда он не уедет, пока живет в поселке беззащитный человек, который Сереги беззащитнее. Еще не полыхнуло в сознании: все — точка, связанны они, сшиты временем и судьбой... Но ничего, сейчас полыхнет. Сейчас вспыхнет.

1982.





ПОСЕЛКОВЫЙ МЭР

После того как жарким июльским полднем схоронили Юрку Миронова, несколько поселковых, хорошо его знавших, сели на лавку возле дома, в котором он когда-то жил. Некуда было приткнуться: автобус укатил на поминки в Колпино, где Юрка жил в последнее время (это за двадцать кэмэ), старики-родители настолько были убиты горем, что их лучше не трогать, а здесь, в теньке, хоть посидеть, что ли.

Старшим по возрасту в этой небольшой компании был дядя Федя Корнев, степенный, положительный, знавший во всем меру старик. Юрке он, можно сказать, годился в отцы, во всяком случае, знал его с маленьких. Слева от него сел Петька Лазейкин, Юркин одногодок, работавший с Юркой до переезда того в Колпино, а справа — Лидка Огородникова, полная, миловидная продавщица винного отдела, в который Юрка обычно заходил, когда появлялся в поселке.

Юрка — это улыбка поселка. Вот переехал он в Колпино, как того хотел, в жилищный кооператив вступил, и в заводской газете «Ижорец» про него напечатали, а душа здесь осталась. Немало поселковых, оказавшихся в зоне притяжения такой громадины, как Ижорский завод, перебралось в Колпино, но ведут они себя по-разному. Одни порвали с поселком, будто никогда в нем и не жили, другие появляются, но изредка, бочком как-то, за картошкой или огурцами (им неприятны всякие расспросы), и только Юрка продолжает жить здесь, словно и не уезжал.

* * *

Обычно он сходит у стадиона, где начинаются первые дома, и идет по центральной улице, неся широченную улыбку и искристые монгольские глаза. Вслух считает метры до первого встречного. Обычно несколько метров. Всего несколько метров проходил Юрка, и его останавливали. То из раскрытого окна женщина окликнет, то из притормозившего самосвала — шофер, то старушка какая-нибудь припадет к груди, всхлипывая о потерях, потому что под старость приобретений мало, одни потери, то однокашник, не давая опомниться, заворачивает в пивную.

Юрка не идет, стоит. Проживает с людьми их жизнь. Проживая с ними их жизнь, он живет. Это и есть способ его существования. Другого не будет. Другого и не было. Пожитейски он груб и весел. Может ввернуть «морда», а то и похлеще. И оттого, что говорит так, люди взрываются смехом, хотя им часто не до него. Но он умеет так ловко сказать, как никто другой. А то сыплет сравнениями. «Ты все равно как...» И называет фамилию местной знаменитости: простака, неудачника или бюрократа. И как-то легче становится. Вот и любят Юрку за его находчивый, бесшабашный нрав, за легкость, которая сродни таланту.

Старики-родители уже прослышали, что их старшенький с утра в поселке, но он появится у них не скоро. Ему надо нахочататься власть, поерничать, на вынесенной кем-нибудь гитаре сыграть. Он идет, да, идет, но это скорость улитки. С большей скоростью не удается. И ни у кого, черт возьми, не возникла мысль, что вот же — готовый поселковый мэр, Юрка Миронов, лучше не было и не будет. Его не надо избирать, он избран самой жизнью, пророс из местного суглинка, как трава, вобрал его силу... Ни у кого не возникла. Все еще через анкеты смотрят на людей. А у Юрки в анкете, будь она составлена, много бы чего не хватило. Образования, скажем, ну, еще винцо любил. Но зато он сделал бы из поселка конфетку, облегчил бы людям жизнь (одна канализация чего стоит!), поскольку в таких местах личные качества решают, а не анкетные. Сколько ни перебывало здесь мэров, никакой памяти они о себе не оставили. Всё придумывали название города, что вырастет на месте поселка, а к поселку так руки и не приложили. При Миронове бы стыдились воровать, халтурить, да и сам парень подтянулся бы.



* * *

Нет Юрки, но многие в поселке еще об этом не знают. Начало июля, в отпусках люди. Автобус примчался из Колпина, гроб постоял немного на табуретках, потом — галопом до кладбища, зарыли и скорей в то же Колпино — поминать, как дело какое делать. Даже не верится, что это случилось. Сорок с небольшим мужику.

— А ты чё гроб не давал нести? — спросил Петька дядю Федю Корнева, но тот не ответил.

Привилегией не отвечать пользуются в поселке немногие. Дядя Федор заработал ее своим горбом. Хотя и смеются мужики над тем, как он дрова по мерке пилит, идет за стадом, собирая коровьи лепешки, ездит на велосипеде (если впереди ямка, загодя перестает крутить педали), однако лучший хозяин в поселке — Корnev. Он и огородник, и семьянин. Мужики не любят его за то, что он в домино не играет и водку не пьет, а бабы — что не волочится за ними, ни одну прилюдно не обнял хотя бы в шутку. Но за хозяйственными советами, особенно за семенами — к нему. И так получилось, что вслед за хозяйственными советами последовали житейские. Они рядом, порой не различишь, где кончается один и начинается другой.

В поселке живет судья, малопримечательная женщина, стесняющаяся своей должности и звания. Когда нужно бумаги оформить, идут к ней, а когда без бумаг и тем более печатей — к дяде Федору. Фактически судья в поселке он. Он знает, как помирить тещу с зятем, как уладитьссору из-за малины, которая «перебегает» к соседу, как быстро собрать нужную сумму денег, как пользоваться лекарственными травами, как вернуть мужа в семью (вернулся и не одного), как захоронить близкого родственника, когда земли нет. Да мало ли тупиковых ситуаций? Корnev верит в компромисс, в то, что надо жить и давать жить другим, и вряд ли кроме этого, по его мнению, люди изобретут что-нибудь путное.

— А ты чё это... не давал нести? — переспросил Петька дядю Федю, но тот по-прежнему не отвечал, сидел, низко склонив голову, как все равно спал.

— Юркина жена мне подмигнула, — возмущалась Лидка Огородникова, — я бегу, дороги не видя от слез, потому что колпинские проскочили, как угорелые, Юрку, смотрю, еще

не опустили, а она мне мигает, будто я его любовница. Небось сама не одного перебрала, думает, и другие так же.

— Одного могу назвать, — откуда-то снизу сказал Корнев.

— Да? — удивилась Огородникова.

— Петька Лазейкин. Может, знаешь?

Сорокалетний Петька вскочил, как петух, сделал вид, что сейчас пристукнет дядю Федю, но из этого куража ничего не вышло. Сел, озираясь по сторонам: не слышал ли кто?

У Лидки брови поднялись: уж чего-чего, а от Петьки она не ожидала. Такой тихий всегда. И вот — нате.

— Специально пошел, чтоб не дать тебе прикоснуться к Юрке. Бабу его можешь лапать, а Юрку — не дам, — сказал дядя Федор.

— Дело прошлое, Петь, расскажи, — попросила Лидка.

— Он еще не понял, что это был он, — сердито заметил Корнев. — Есть такие, которые разделяют: в молодости я один, а под старость другой и к тому, первому, касательства не имею. Теперь в самый раз стучать себя в грудь и называться Юркиным другом.

— Петь, правда, что ль? — заглянула Лидка в лицо Лазейкину. — Говори, чего уж.

— Этот моряк-подводник, — ответил за него дядя Федя, — только что демобилизовался тогда, а Юрка только что женился. Получил комнату надо мной. И так он любил свою Файну, что ради нее согласился на сверхурочные. Ладно бы по токарной части, а то «пек» выгружать — вонючую смолу. Мечта была: зеркальный шкаф. Петя и помог ее осуществить.

— Петь? — еще раз спросила Лидка.

— Первый и подкосил, — продолжал Корнев. — Нет бы сказать про Файку, какая она дрянь, глядишь, Юрка пересмотрел бы кой-что. А так — тянулось и тянулось, парень запил, потом это Колпино, как будто переедешь и жисть другая начнется.

— Да не знал он, — наконец подал голос Петька.

— «Не знал», — передразнил Корнев. — Я наведуюсь к твоей, и ты тоже не будешь знать... Чувствовал!

— А чё ты меня тогда не остановил?

— Откуда я знал, что это ты? Я только сейчас догадался. Придет, думаю, этот, перед Юркой грех замолить.

— Выходит...

— Выходит-выходит, — подтвердил Корнев. — Грех на тебе, и не знаю, кто тебе его отпустит.

— Да не об том я...

Петъка вылез под солнце с бурыми пятнами на щеках и побрел к центральной улице, или шоссейке, как ее все называют. Зря он не двинул в Колпино на поминки, зря побоялся острого Файкиного языка, которая может влепить так, что... Остался здесь, понадеявшись, что старики нальют стакан, но вместо этого получил, что называется... Постоял на шоссейке, посмотрел, как едут машины. Машины ехали все так же. Солнце, взяв сторону Юрки, палило не ко времени. Обычно жаркая неделя выпадает в конце июля, а тут — в начале.

Петъка Лазейкин ведет жизнь тихую снаружи и бурную внутри. У него выработался нюх на нестандартную ситуацию, узкое место. К примеру, перевозят грузовики фанеру. Год, два перевозят. Всё о'кэй. Вдруг дорогу перекопали, а шоферня не знает. Бац, задок подлетел, пара листов соскользнула в кювет. А Лазейкин? Он как раз в кювете и сидит. Чем клянчить фанеру у начальства да потом платить за нее, он сорок девять листов уносит даром.

Где что-нибудь яркое, веселенькое, из ряда вон, где результат не знаешь, там Петъка. А где тягучее, монотонное, давно известное и навевающее тоску, там его нет. Ну, скажем, пришел он бутылки сдавать, а на пункте очередь. Будет ли Петро торчать среди старушек и слушать их сетования? Уж лучше он поможет загрузить фургон и сдаст без очереди.

Aх, если бы Петъка еще и создавал ситуации! Цены б ему не было. Недюжинные мозги нужно иметь, чтобы в одну жизнь втиснуть несколько. Но Петро скромен, берет лишь то, что под рукой.

А под рукой одинокие женщины. Их много. Мужикам не живется: то спиваются, то попадают в тюрьму. На время исчезают из поселка или вообще исчезают. Как быть женщине, у которой женская жизнь еще продолжается? Ей лучше всего посочувствовать. В открытую, конечно, глупо, а тайком... Хватило б ума, изворотливости. И Петъка, завязтый трус, в решительные минуты не знает страха. «А этот, — подумал он про Корнева, — пройдошливыЙ, надо ж еще когда заприметил мою ходку к Файке».

Постояв на шоссе, Лазейкин решил вернуться, потому что с Корневым шутки плохи; с ним надо досидеть до конца, узнать его последнее слово и подчиниться. Поперек выступить — себе дороже.

Лидка Огородникова, пока Петъка отлучался, о чем-то рассказывала дяде Федору, Петъка застал лишь конец фразы.

— ...поняла, что любила: как увижу — глаза прячу, боюсь, поймет. А сколько было возможностей... Но Юрка лишнего себе не позволял. Спроси меня сейчас, как бы я построила жизнь? А так: не выходила бы за своего охламона, а родила б от Юрки.

— Дочь у него, — напомнил вернувшийся Петька.

— Америку открыл, — укоризненно покачала головой Лидка, — будто я не знаю.

— Привязан был к ней.

— И это я не знаю! — обиделась Лидка. — Не дала б Юрке сгинуть, как эта выдра, вот что я говорю. Р-раз, заболел, операция — и все. А я бы этого не допустила. Гитару б ему купила, а то он все — на чужих.

— Поменьше водки бы ему совала.

— За деньги, дурень.

— «Любила», — позлорадствовал Петька, которому хотелось на ком-то отыграться, — одной рукой любила, а другой наливалась.

Лидка не ответила. Иль впрямь она мечтала о жизни с Юркой, иль только сейчас подумала... Наверное, все-таки сейчас, потому что онемела, погрузившись в дрему.

Лидка — это тот же Юрка, вряд ли б они ужились. За Лидкой нужен догляд, то есть ей нужно напоминать прозаические вещи: чтоб в доме было чисто, обед сготовлен, ребенок отправлен в школу и т.д. Когда был жив отец, Лидка училась то в одном техникуме, то в другом; вернее, делала вид, что учится, поскольку ни один из них не кончил. Из одного выперли за подделку чертежей, из другого — за пропуски занятий. После смерти отца все встало на свои места: Лидка продавец винного отдела, именно винного; другие отделы ей не подходят. Почему? Лидка не любит баб и всего, что с ними связано: сплетен, нытья, перемывания косточек. Уж лучше мужики, с которыми проще и понятнее. Она и ящики таскает с ними, и вино продает им же, и отшивает, кто без очереди, их же, и отвечает им «ихними» же словами.

За прилавком Лидка в своей стихии: волосы растрепаны, взгляд огненный, припотовший лоб. «Ваших двадцать пять», «ваших десять», «ваших...». Поданные деньги Лидка обязательно называет, после чего бутылки ложатся на мягкую подушку из поролона, а не ставятся стоймия (Лидкина придумка).

Лидка в настроении, когда близится ее звездный час. Отпускает шуточки, черный юморок лепит. Быстрыми шагами уходит инкассатор с холщовым мешком в руке и портупе-

ей на боку, последние сумасшедшие стучат в закрытые двери, а Лидка уже в подсобке: переодевается, красит губы...

С каждого привоза Лидка имеет две бутылки (так называемый «бой»), но это не целиком ее собственность, а шофера, грузчиков и прочих, оказывающих ей мелкие услуги. Вокруг накопившихся нескольких таких бутылочек и паркуется местное «общество». Дым взлетает к низкому потолку, анекдоты не затихают...

Юрка возникает в табачном дыму, как феникс из пепла; Лидка вздрагивает и сама наливает ему. Приносят гитару, Юрка садится напротив Лидки и подтягивает струны. И в течение всего вечера главным действующим моментом остаются их глаза: как угли, пылают они с той и другой стороны. Это медленное горение и есть особая, оставшаяся им сладость: пусть мосты сожжены, но речка неширокая, и берега близки. Никакие другие глаза не в силах зажечь Лидку. Юрка поет и смотрит, смотрит и поет. И так продолжается до тех пор, пока все не выкурено и не выпито...

— Жаль мужика, — сказал Корнев. — Я все не могу понять: зачем он взял со станции? Зачем другие привозят, кто с армии, кто с командировкой? Своих, что ль, нет? Ведь знать надо, работающая ли, какого поведения.

— Любовь, — усмехнулся, присаживаясь, Володя, Юркин брат, возвратившийся с поминок. Даже не заметили, как он подошел. Высокий, худой, с большими залысинами, совсем не похожий на брата, Володя приехал на похороны откуда-то издалека.

— Не всякая любовь для жизни подходит, — возразил Корнев. — Можно любить, а с женитьбой повременить. Женитьба — не щекотание нервов, требует обмозгования. А то сойдутся, ребеночка заведут, а потом начинают думать.

— В Германии, я слышал, первые два года не записывают, — сказал Володя, — но у нас такое невозможно. Сразу появятся «любители»: с одной два года, с другой... Не созрели.

— Как они там? — спросила Лидка.

Володя понял, что это вопрос к нему.

— Веселятся, — ответил.

Тут вся компания, даже Петька, в недоумении уставились на Володю.

— Юрка так велел.

— Узнаю Юрку, но они-то что: совсем уж? — возмутилась Лидка.

— Да пусты, — отмахнулся Володя, — жалко, что ли?

— То-то ты не задержался, — сообразил Корнев.

— Дико, — согласился Володя, — но по-другому Юркина жизнь и не могла закончиться.

— Ты вроде как осуждаешь его.

— Зло берет, — подтвердил Володя. — Вы, наверное, на Файку накинулись, такая, сякая, а надо Юрку ругать, потому что от мужчины все зависит. Ну какая у него была цель, скажите? Работа? деньги? женщины?.. Нажраться с утра. Оттого и командировки стал брать, там это легче сделать. Представляю, какой опыт он передавал.

— То было после, а сначала...

— И сначала никакой цели не было. Слабый характер всегда разменивается. Вот разменялся на Файку. Сколько раз говорил ему, расстанься ты с этим чудом, а он? А он что в ответ?

— Пусть живет, — вспомнила Лидка.

— Пусть живет, — подтвердил Петья.

— Пусть живет, — сымитировал Володя Юркин голос.

— Потому что жальливый был, знал, что она без него пропадет, — заключил Корнев.

— Как же, пропала!

— Юрка так думал, и надо принять это.

— И черт-то бы с ней, — в сердцах бросил Володя.

— Не скажи, — снова возразил Корнев, — Юрка не такой.

— Знаю, — подтвердил Володя, — но его человеческий дар против него же и обернулся. Сколько он пригрел всяких душ — не сосчитать, а свою, единственную, так и не приткнул ни к кому. Уходил сейчас от них, племянница вдогонку: «Куда же вы, дядя?» «К отцу твоему», — отвечаю. Она расплакалась. «Часа за три до смерти, — рассказала, — захотел папа в туалет. Я ему предложила судно. Постеснялся. Сам дошел от кровати и обратно. Вы б видели, как он шел».

— Юрка, — подтвердил Корнев.

— Все во мне перевернулось. Дошло вдруг, что конец, некому больше приподнять мою душонку, дать ей расслабиться, полететь. Это умел Юрка. За этим и мчался к нему. Еду, на все лады ругаю, планы строю, как повернуть безалаберную жизнь его, а увижу, особенно с гитарой — дрогнет сердце, и лицо, чувствую, растекается, и с таким растекающимся лицом хожу вокруг него. А теперь как же? Как, я спрашиваю!

Володя рубанул кулаком по некрашеной лавке, боли не почувствовал и стал колотить по ней с таким отчаянием, что полная подвижная Лидка вскочила и обняла Володю. Кое-

как утихомирили его; он затих и молча плакал, подбиравая ртом слезы. Ладонь-таки рассек. Петька сбежал за йодом, а Лидка перевязала ладонь платком, все это молча, непрерывно поглаживая остатки Володиных волос на затылке. Он пришел в себя и кивком поблагодарил.

Володя в поселке давно не живет, но странно: живет его жизнью. Володя — Юркина тень. Если Юрка появился в поселке, значит, и Володя где-то здесь, хотя дом и семья у него далеко. Любую щель во времени он использует, чтобы подышать поселковым воздухом. Но вместе братьев почти не увидишь. Если Юрка на гитаре в подсобке играет, Володя в это время может в бане мыться, если Юрка на стадионе болеет за своих, Володя на огороде с родителями окучивает картошку. Будучи такими разными, они связаны духовной нитью и друг без друга существовать не могут. Но вот нить оборвалась, Юрка ушел, и Володя растерялся. Сначала он корит себя за то, что проморгал брата, потом корит брата, оставившего его одного, потом себя и брата вместе... Сумятица у него в голове.

Некоторое время молчали, потом Лазейкин вспомнил:

— Пошли как-то с ним в лесопосадку, лет по десять нам было, еще в эвакуации. Росли там яблоки, кислятина, дички, но мать запечат в духовке — ничего, можно есть. Я нарывал мелочи, а у него, смотрю, полная противогазная сумка отборных, как будто воздухом надутых. Поймал он мои глаза и говорит: «Махнемся сумками?» Я с радостью согласился, а когда моя мать узнала об этом, то укорила: «Что ж ты не предложил разделить поровну?»

— Сам-то себя укорил? — пренебрежительно покосился Корнев.

— Конечно, — с готовностью ответил Петька.

— Я уж порядочно прожил, — сказал Корнев, — а еще ни разу не видел, чтобы кто-то поборол в себе жадность, страсть к другой женщине или еще какую наклонность, а вот скрывать, замазывать — все великие мастера. И только Юрка ничего не скрывал. Однажды в командировке дружки надоумили его стащить насос с завода. Загнали чистнику, а деньги пропили. Ходил Юрка, ходил в воровской шкуре, да только не по нему она оказалась. При первой возможности сел в самолет, выкупил насос и на место вернулся. Этот насос, я уверен, до сих пор там никому не нужен, но дело не в нем.

— Когда отец умер, — припомнила Лидка, — несколько дней было тяжелых. Мы с матерью с ног сбились, потому что народищу нашло. Суeta с ножом в сердце. А еще...

Поверье это или дурь, до сих пор не знаю, но кто-то должен бодрствовать рядом с покойником. И все три ночи это был Юрка. Я даже тайком проверяла: не спит ли? Тогда и узнала, что он за человек.

Помолчали о Юрке.

— А ты чё вернулся? — скосился Петька к Володе. — У тебя ж поезд.

Володя прокашлялся в кулак.

— Не по-людски скоронили. Про какую-то медаль вспомнили... Он просил на гитаре тихонько сыграть. После операции руки отказали, может, от этого и умер.

— Не по-людски, — согласился Корнев, вставая.

— Скажи спасибо, что здесь, а не в Колпине, среди чужих. — Оправила платье Лидка.

— Я тоже пойду, — встал Петька, — попрошу прощения.

— Тебе сам бог велел, — одобрил Корнев.

Четверка двинулась в сторону кладбища. Миновав пятиэтажные коробки, она очутилась в деревянной части поселка среди низеньких палисадников, чистой зелени и выглядывающих там и сям фиолетовых глазков шиповника. Жизнь здесь размеренно, неторопливо, ни очередей, ни модниц, разве что голопузые ребяташки мелькнут, да примета: белые пятна кирпичных гаражей, которых раньше не было.

— А... откуда здесь дорога? — спросил Володя, притопнув сандалиями по бугристой щебенке. — Покойников, сколько помню, носили на руках.

— Юркина дорога, — ответил Корнев.

— Как Юркина?

— К нему автолюбители ездили: муфту выточи, получось... А он денег не брал, говорил, с тебя самосвал щебенки. Так и довел до кладбища. Последние машины из Колпина носились, шоферня ругалась: куда валить? Постсовет не промах: записал три километра на свой счет.

— Почему братана так быстро и промчали, — смекнул Володя.

— Дорогой смерти, — пошутил Лазейкин.

— Жизни, дурачок, — строго посмотрела на него Лидка. — Неизвестно, что от тебя останется, а от Юрки осталось.

— Я и говорю, — замял Петро.

— Как же нам с музыкой быть? — забеспокоился дядя Федор и прибавил шагу, догоняя Володю.

* * *

...Много я видел российских дорог, езживаю, хаживал по ним, но такую видел впервые. Она напоминала стиральную доску. По ней нужно было либо мчаться, либо потихоньку плестись. Поэтому государственные машины мчались, а частные плелись. Самосвалы валили плотно, куча к куче, некому ни разровнять, ни прикатить. Было впечатление автодрома, где такие «доски» кладут специально. Но люди этой части поселка так истосковались по твердому покрытию, что были рады и такому, а когда они узнали, что дорогу строит Юрка, то стали приворовывать щебенку, протягивая белые ручейки в сторону своих домов, отчего в темноте дорога светилась длинноствольным, с многочисленными побегами деревом. Зачем она понадобилась Юрке, толком никто не узнал, однако большинство склонялось к мысли, что Юрка бегал по ней мальчионкой и запомнил проклятия сельчан, не одну пару галош оставил на ней. Так это или не так, но Юрка оставил на память не свои застрявшие галоши, а кое-что покрепче. Настоящие мэры так и поступают.

1984.





ТАНЦЫ В КЛУБЕ

Мне хотелось танцевать, но я стеснялся войти в зал и весь вечер проводил в фойе, где разрешалось курить и свободные от танцев мужчины играли на бильярде. Этот бильярд я не навидел, хотя делал вид, что люблю; мужчины казались мне эгоистами, они высказывали из зала, когда им не нравился танец, и успевали, пока он длился, сыграть «американку», но вот оркестр начинал фокстрот, и их сдувало, как ветром. Кий брали другие, те, до ушей которых музыка не доходила, «налимы», как я их называл про себя, и тут меня брало отчаяние: я-то зачем среди них? Тогда я входил в зал, делая вид, что кого-то ишу, и, обойдя его по периметру, возвращался назад. Два или три раза отваживался я на подобное путешествие, но на четвертый оно исчерпало себя.

Мать не хотела, чтобы я ходил в клуб, но когда я стал упорствовать, купила мне простенький хлопчатобумажный костюм. Она все искала причину, по которой бы меня не пустилась, ну, например, что я молод, или у меня нет денег, или я стремлюсь туда до одури накуриться, но, встречаясь с моим сияющим лицом во время тщательных сборов, лишь напоминала, чтоб я не вытягивал коленки на брюках.

Надо быть посмелее, решил я и однажды пришел в клуб первым. Только что окончилось кино, уборщица подметала пол, я ходил по залу, настраивая себя на первый танец, но им оказался вальс, а вальсировать я не умел. Несколько девчонок, далеко откинув руки, разлетелись по залу, вызвав у меня чувство восхищения и зависти одновременно. То были наши поселковые девчата, я их хорошо знал, и это только мешало. Мы были одного возраста, но они мне казались старше: пожалуйста, уже и вальс успели выучить. Нет бы меня поучить в уголке где-нибудь... Из чувства благодарно-

сти я б женился на любой из них, но нет: учись сам. А с кем? В обнимку с бревном? Запершись в сарае, я однажды попробовал, но бревно сильно ударило меня по ноге.

Вторым танцем оказалась полька, а третьим — краковяк, и я понял, что духовой оркестр, которым руководил отставной майор, мне не поможет, ему бы коровам играть, а не людям. Кажется, так я подумал, но в фойе не пошел. Зал незаметно наполнился танцующими, в основном, девушками, и я оказался в углу, угрюмый, скованный по рукам и ногам невидимым обручем. Оставалась надежда на радиолу, но действия киномеханика, крутившего пластинки, невозможно было предугадать. То он ставил подряд два вальса, то оперную арию, то семь танго. Этот человек переживал семейную драму, и ему было не до чего. А чаще всего он куда-то уходил, оставляя в будке похожего на себя, судя по подбору пластинок.

Оркестр отгремел; в динамике раздался хрип: пробовали пальцем иглу. Я решил дождаться танго, потому что ничего другого танцевать не умел. Два шага влево, один вправо. Танго мне нравилось тем, что оно разговаривало с человеком. Каждый раз, когда я слушал его, мне казалось, со мной беседуют на равных: неторопливо, убежденно, красиво, любя меня. Танго меня уважало. А фокстрот — нет; чтобы танцевать фокстрот, надо или подогреть себя стаканом водки, или получить какое-нибудь ошеломляющее известие вроде крупного выигрыша. Что касается вальса, то он вызывал во мне сложное чувство.

Вальс — это уровень жизни. Чтобы быть достойным его, надо хорошо одеваться, регулярно ходить в парикмахерскую, забыть о табаке, учиться хорошим манерам и мало-мало воспитать вкус, касается он пищи, одежды или прочитанной книги. Но и этого мало. Надо получать удовольствие от жизни, быть влюбленным в нее, иметь легкий характер, и тогда вальс примет тебя, как своего. К вальсу можно готовиться всю жизнь, но начинать лучше с ботинок на кожаной подошве, а не с тех бахил, в которые были обуты мои ноги. Я убрал их под лавку и глубоко вздохнул. Нет уж, подожду с вальсом, лучше прикину, кого приглашу на танго.

Танцующих можно было разделить на две группы: тех, кто нашел себя, и тех, кто искал. Нашедшие образовывали пары: они приходили и уходили вдвоем, танцевали, не разлучаясь, в том числе и белый танец, на их лицах читалась будущая семейственность, с ними все было ясно. Это была продукция клуба в лучшем смысле слова: такие пары шли под венец благодаря ему, клубу, и в то же время самая скучная

— интриги жизни они не собирались испытывать. Ищущих было больше, и они были разнообразнее. Парень мог прийти с девушкой и уйти с ней, но целый вечер проторчать у бильярда. Девушка могла напомнить о себе во время белого танца. Пары то возникали, то распадались: танцуй со всеми подряд, и изменой это не считается. Приглядывались, искали друг друга, не находили или находили, но не то, тогда пускались по второму кругу. Невидимые драмы вроде той, что познакомил дружка со своей девчонкой, а он взял да отбил ее, витали в наэлектризованном человеческими телами небольшом пространстве между потолком и полом.

Танго! Я выждал несколько секунд, чтобы не пересекать зал под взглядами любопытных, и направился к Ней. Ноги от долгого сидения задеревенели, я очень желал, чтобы ее提升了 из-под самого моего носа, мне этого бы хватило, но где-то в глубине души чувствовал, что, кроме меня, ее никто не пригласит. Дело в том, что она была старше меня и по этой причине как бы выпала из круга, внутри которого велись поиски. Мы были на равных: ее уже никто не искал, меня еще никто не искал. Чувство равенства вело меня, а вовсе не жалости (я не сказочный принц), расстояние неумолимо сокращалось. Она меня не видела, потому что я прятался за танцующими, поэтому я вырос внезапно и ошеломил ее поклоном и тем, что крепко сжал локоть. В глазах ее мелькнуло разочарование (сосунок!), но тоска по танцу оказалась сильнее: моего плеча впервые коснулась женская рука. Это выражение скрытого разочарования при виде меня не покидало ее в тот вечер.

Первое в своей жизни танго я плохо помню. Это потом я и музыку слышал, и ловко поворачивался на кованых подиствах, а сейчас, будто тащил из лесу вязанку дров: спотыкался, потел, толкал других и, кажется, обступал ей ноги. Сердце стучало так сильно, что я не слышал музыки, и если так даются победы, то меня можно было назвать победителем. Когда я проводил ее до места и вышел в фойе, парни, колготившиеся у бильярда, показались мне людьми будущего: хорошо все-таки жить на свете!

Последующие дни я жил ощущением прикосновения к ней. Какая-то она была до неправдоподобности мягкая. Рука, взявшая ее за талию, утонула. Мое колено не разлетелось вдребезги, когда во время танца на миг встретилось с ее коленом. До нее все в этом мире было для меня жестким: топчан, на котором я спал, лавка пригородного поезда, в котором я ездил, слесарный инструмент мастерской, куда я поступил учеником после восьмого класса, и даже наши по-

селковые девчонки, такие же тощие и худые, как я. И вдруг... Это прикосновение я постоянно вызывал в памяти и даже пересел из картежного и прокуренного девятого вагона, в котором обычно ездил, в восьмой, нормальный. Езды до города было час, и весь этот час я грезил в сладкой полудреве, не переставая думать о кожаных ботинках, которые надо было где-то добывать. К концу недели я забыл ее лицо; она мне представлялась красавицей, и перед этой созданной моим воображением незнакомкой я робел.

Поэтому я не сразу узнал ее, хотя она стояла на прежнем месте, возле оркестра, в том же цветастом крепдешиновом платье. На миг меня обожгла мысль, в свое ли я дело ввязываюсь, приглашая на танец толстую некрасивую женщину, годившуюся мне в тети, но мысль, эта услужливая, неверная штука, тут же поспешила оправдаться: «Не в жены же ты ее берешь?» К тому же никому в этом клубе я не был нужен, а танцевать хотелось, и магия прошлого прикосновения еще жила, короче, я двинулася знакомым путем.

Легкая гримаса: она меня успела забыть. На одном из свободных пятаков я повел ее не по шаблону «два шага влево, один вправо», а так, как мне вдруг захотелось. А захотелось мне сделать пробежку и немного покружиться, как это делают в довоенных фильмах. К моему великому изумлению, «тetenька» вдруг выполнила то, что я замыслил. Опять свободный пятак, опять бег, круженье, и вопрос о ботинках встал со всей остротой: такой приты я от нее не ожидал. Она оказалась чувствительной к моей руке и, несмотря на свои габариты, легкой, как пушинка. Конец этого удивительно-го танго омрачился тем, что нас разбили: она ушла с кавалером в синем костюме, а мне досталася тоненская девушка с косой. Белый танец? Вот те на... Но он мне кой-что приоткрыл. Девушка так напряглась, что я не мог сдвинуть ее с места. Не я с ней танцевал, а она со мной. Она двигалась по тому шаблону, от которого я только что отошел, и все мои попытки ее переубедить ни к чему не привели. Более того, в одну из них она сердито взглянула на меня, и мы кое-как дотерпели друг друга. Когда я выходил в фойе, моя танцорка стояла возле авансцены, беседуя с синим костюром, но глаза она-таки скосила в мою сторону.

В слесарной мастерской, где я работал, из пяти принятых учеников осталось двое: я и городской мальчик по имени Эдик. Эдик тоже решил уйти, потому что зарплата нищенская, мне, например, ее едва хватало на еду и проездной билет, а Эдику — на карманные расходы. Поэтому Эдик стал подрабатывать продажей граммофонных пластинок, изго-

товленных из рентгеновской пленки, и после обеда исчезал. Мастер это заметил и установил нам с Эдиком норму, мол, болтайтесь, где хотите, но по пять нутромеров (мы изготавливали инструмент) к вечеру мне сдать. Эдик, услышав такое, приуныл, я знал, что ему еще тяжелее, чем мне. Хотя мы оба были записаны как дети погибших фронтовиков, но у него отец сидел в лагере, то есть фактически он был сыном «врага народа», и, кроме этой захудалой мастерской, его нигде не брали. Я решил часть нормы Эдика взять на себя — идея, от которой он пришел в восторг. Давалось это мне нелегко, но Эдик не поскупился — отдал мне свои кожаные ботинки. Так на третьем по счету танцевальном вечере в клубе я появился, буквально не чувствуя ног под собой, настолько легки они были.

Что и говорить, я использовал ботиночки! Мою Зину (так ее звали) я закружили, завертел, заставил вспотеть, зардеться, я был осью, вокруг которой она вынуждена была поворачиваться то вправо, то влево, я буквально впился в нее, как клещ, и, наверное, она меня ненавидела, но от моих танцевальных чудачеств не отказалась. Киномеханик был в своем обычном настроении, потому что ставил одно танго за другим, духовой оркестр без майора не рискнул играть, а я еще вдобавок опробовал вальс, и он танцевался, пусть не в правую, но неплохо — в левую сторону! В чем мы с Зиной оказались схожи, так это в желании рисковать. Я бросался в новый танец очертя голову, она — тоже. Мы оба не могли остановиться и буквально шныряли по залу, выискивая свободные пятаки, на которых можно было бы покружиться. Как-то все равно стало: вальс, фокстрот или танго. В фокстроте мы выделявали такие па, что на нас стали неодобрительно коситься, особенно предсвадебные пары; один раз я получил затрецину от здоровенного жениха в синем костюме (того самого), двигавшегося по залу с поступью зеркального шкафа, но тычок вызвал Зинаидин счастливый смех и тем самым погасил во мне желание отомстить.

Танцы кончились, мы стоим на крыльце, она в пальто, я в ватнике, но я не остыл и мыслями еще в клубе, а Зинаида вопросительно и несколько осуждающе смотрит. И тогда я спускаюсь вслед за ней — что же: иду провожать? Да, я провожаю Зинаиду домой. Через минуту нас обступает кромешная тьма октябрьской ночи.

От первого попадания в лужу голова быстро трезвеет. Зинаида молча выдергивает меня на сухое место. На ней резиновые сапоги, а мне лишь гордость мешает повернуть назад или хотя бы вытрясти из ботиночек воду. Мы идем цепоч-

кой, она впереди, я сзади. Меня томит нехорошее предчувствие: деревня, куда мы направляемся и где, по-видимому, живет Зинаида, с дурной славой. Мать, если узнает, задаст мне. Но отступать поздно, Зинаида останавливается, поджиная.

— Прическу потеряла из-за тебя, — говорит она грубо.

— Не понял.

— Волосы спрямились. Нельзя мне потеть.

— Далеко еще?

— Не робей, кавалер.

Она взяла меня под руку, и мы пошли, огибая лужи. Если бы не ее рука... Ну какой из меня провожатый? Мастера проводов — «налимы». Целый вечер они в папиросном чаду гоняют кремовые шары, ни на один танец их не заманишь, но вот отзвучал прощальный вальс, и почему-то каждый уходит с девушкой. Едва отойдя от клуба, «налим» старается девушку облапить и грубо поцеловать, и хотя тут же получает по щеке, как ни в чем не бывало шагает дальше. Я знаю, почему девушки не отталкивают таких: какой-никакой, а защитник, в нужный момент понадобится. А я? Меня самого нужно провожать до двери и вручать матери под расписку. И вот Зина, словно почувствовав мою ущербность, втаскивает меня в деревню.

Деревня небольшая, в одну улицу. Прижимаемся к палисадникам, потому что посредине улицы не пройти. Деревенский уклад жизни я попросту не люблю. Он состоит в служение скотине. Мы с матерью как-то завели козу, но долго нас не хватило. Вроде бы малое существо, но сколько возни с ним! Утром скотильня пойло, вбей кол на лугу и привяжи (думаешь — на день, но через час смотришь — запуталась), вечером опять дойка, кормежка, заготовка сена впрок... Время потекло для козы, а для меня остановилось. Я хотел быстрее попасть в мир умных людей, но попал, что называется... Однако чем незнакомей дело, в которое ввязываешься, тем больше тебя ждет открытий. Я открыл, что коза, корова или другое домашнее животное — это как бы бывшие люди, они хорошо понимают человеческий язык и вроде бы только его и понимают.

Однажды я поссорился с ребятами и на несколько дней выключился из мальчишеской жизни. Я отводил козу к лесу, бросал ее, а сам впивался в толстую книгу. Мне тогда казалось, чем толще книга, тем больше я почерпну из нее. Коза сама напоминала о себе. Она подходила и просила то поласкать ее, то поиграть с ней. Настолько выразительны были ее позы, ну вот хотя бы эта, когда она вставала на бугорок и мотала головой в сторону поселка, приглашая меня домой,

что иначе как за человека ее нельзя было принять. Бывшего, конечно, но какая разница? Она в два раза больше стала давать молока, вида хорошее к себе отношение.

Возле крайней избы Зина принялась громко хохотать, тискать меня, делая вид, будто я ее обнимаю, а потом неожиданно запела:

Говорят, после изменушки
И хлебца не едят,
А у меня после изменушки
Буханочки летят.

От крыльца отделилась фигура, но Зина не стала ее дожидаться и потащила меня к своей избе. Мы подошли крадучись, устроились на завалинке и стали шептаться. Я спросил, для кого она пела частушку да еще с тайным смыслом, но над нами вдруг распахнулось окно, и звонкий старческий голос возвестил:

— Зинуль, Жуньке плохо.

Зина сунула мне туфли и скрылась. Я оставил туфли на завалинке и пошел домой. Наверняка Жунька — соседская корова, проколовшая копыто колючей проволокой (немцы собирались воевать сто лет, судя по тому, сколько они натянули этой проволоки), или собака, у которой волки оторвали хвост. Зина, ловкая и сильная, обработает рану и вернется, но мне это до фени. Мне надо подумать и крепко, то ли я делаю.

Мать была за то, чтобы я окончил десятилетку, а потом институт. Я очень хотел учиться, учеба была моим призванием, но видел, как бьется мать, как трудно ей поднимать нас троих. Ладно бы нас с братом, а то она взяла на воспитание девочку, оставшуюся без родителей. Взяла на три года (на такой срок сослали ее собственную маму за опоздание на работу) и тем самым отрезала мне путь к обучению. На словах она были за, а на деле против. Когда я поехал в город и устроился в ближайшей от вокзала мастерской, она ничего не сказала. Теперь я мог обеспечить себя сам, то есть обрел самостоятельность, но так ли ею воспользовался? Клуб, Зина, деревня, посередине этой деревни мокроногий юнец, и этот юнец я! Вот результат того, когда плывешь по течению. А надо против. Против — это устроиться в городское общежитие, ходить в вечернюю школу, библиотеку и, может быть, кино, если останется время. И тогда ни к чему деревенские зины, какими бы прекрасными танцорками они ни были.

Поравнявшись с крайней избой, я заметил в глубине ее большого двора огонек папиросы. Меня осенила догадка: вот кому предназначался Зинин куплет! Вместе с догадкой в мое

неокрепшее сердце вплзла ревность. И пока я шел до дому, обходя лужи, это незнакомое, но сильное чувство овладело мной целиком. Я забыл, для чего живу в этом мире, и только мысль, неужели в глазах Зины я хуже того, с папиросой, стучала в висках. Я так сжимал кулаки и казался себе таким сильным, что рухнул в постель, едва прикоснувшись к ней, даже не слышал, как мать отчитывала меня за грязную обувь. Когда все уснули, моя «сестренка» (домашний ангел, как потом я стал ее называть) проскользнула в ночной рубашке в коридор и привела ботинки в порядок.

Эдик стал злоупотреблять моей добротой, пропуская по дню, иногда по два, но я втянулся в работу и к концу дня сдавал двойное задание. Не знаю, зачем я это делал, и мастер, принимая от меня кронциркули, взглядом дал понять, что я из породы этих самых, на которых воду возят, однако я не ишачил, как он думал. Раскрой заготовок я освоил на фризерном станке во время обеда, когда все уходили в столовую, и таким образом работа превратилась из пытки в удовольствие. Эдiku я про станок не сказал, чтобы не расхолодить его, но несомненно одно: в этой мастерской возможности для моего роста были. Эдик теперь больше имел от продажи пластинок, но счастливее от этого не стал, потому что предлагал их из-под полы, а милиция не дремлет и в случае поимки конфискует всю партию. Одну из таких пластинок он подарил мне, и в дальнейшем наши отношения складывались так: я выполнял за него задание, а он мне что-нибудь дарил.

В очередное воскресенье Зина не пришла. Поначалу я даже обрадовался (не надо провожать), но к концу вечера мной овладела такая тоска, что хоть стулья ломай. При первых тактах музыки я вырастал перед какой-нибудь образцовой парой и уводил девушку. Пока девушка хлопала ресницами, спрашивая парня, можно ли ей танцевать с другим, я крепко брал ее за руку, и это действует сильнее слов. Момент, когда я разбивал предсвадебную пару, был самым щекотливым, остальное — так себе. На второй паре я это занятие бросил, потому что по сравнению с Зиной девушки напоминали куриц, готовившихся прожить сто лет. Так старательно охраняли они свое куриное (и недовольным взглядом, и отстраненностью тела, и негнущейся спиной), как бы демонстрируя суженому: вот какая я тебе преданная, что вторую девушку я оставил посередине зала. Меня давно раздражало в людях неумение прожить минутой; если проживается минута, то обязательно с идеей. Вторая девушка мне даже не ответила (я спросил, как ее зовут), потому что над ней повисла идея замужества, и все, что не вписывалось в нее, она отметала. Ну а потом, когда заму-

жество исчерпает себя, а муж, уже сейчас поглядывающий собственником, осточертеет, появится идея освобождения? Появится, еще как появится. И танец изменит свой рисунок, и даже человек изменится, но идея останется. Без идеи нельзя. И непонятно, почему люди закрепощают себя всякой глупостью: от недомыслия это или от бедности? Почему они не доверяют чувству внутренней свободы, самому главному, самому драгоценному? Хотя бы в трехминутном танце. Ведь это клуб, здесь любой может пригласить любого, и зачем в эти минуты выражать собачью преданность оставленному партнеру? Я не понимал. Разве рухнул бы мир, если бы девушки, которых я приглашал, танцевали со мной так, как они вообще танцуют? С ощущением внутренней свободы. Без него невозможно жить, если хочешь жить.

Я вышел на воздух. В этом зале я мог танцевать только с Зиной. Если она не пришла, то мне здесь делать нечего. Я посмотрел в ту сторону, откуда она могла появиться, и сердце заныло. Она принадлежит не мне, а тому, с папиросой, как я сразу не догадался? Все ее поведение говорило об этом. Я годился для клуба, для приятного времяпровождения, а остальная наполненная тайной жизнь была мне недоступна. Зина лишь приоткрыла завесу этой жизни и тем самым поставила меня перед выбором: туда или сюда? Машинально я побрел в сторону деревни, всем существом своим чувствуя, как меня влечет во взрослую жизнь, как мне хочется узнать ее, какой бы таинственной она ни была, и, кажется, дошел до той памятной лужи...

Когда я не видел Зину, ее реальный, земной облик уходил из сознания и заменялся воздушным, целиком складывающимся из моих представлений о ней. С такой Зиной я жил в одном общежитии, сидел на лекциях в одном институте, куда мы должны были поступить, гулял по вечернему городу, ее рука — в моей, полное понимание друг друга, даже слов не надо. Но вот слуха касался куплет про «изменушку», и меня начинала мучить ревность. «Уж не любишь ли ты ее?» — вопрошал я себя. Себя обмануть легче, и я отвечал: «Нет, конечно, нет». Но симптомы болезни были налицо: я сделался вял, не ощущал вкуса пищи, грубил матери, рассеянно держал в руках том Лермонтова, подаренный мне Эдиком, в ответ на ухмылку мастера рассмеялся ему в лицо, затеял скандал в клубе по поводу того, что не поставили мою рентгеновскую пластинку с изображением грудной клетки (так и не удалось узнать, какая мелодия на ней записана), — я влюбился. Я непрерывно танцевал с Зиной, я был этим болен, все вызывал и вызывал в памяти прикосновения наших

рук, и теперь эти прикосновения по-иному волновали. Они как бы догнали меня: раньше я им не придавал значения. Ведь мы не сказали и двух слов друг другу, нашим языком стал танец. И даже не сам танец, а та раскованность и слитность движений, которой мы достигли в нем. Эта слитность сводила меня с ума. Грезы мои до того были явственны (особенно в утреннем поезде), что я не ощущал тела и при выходе из вагона старался, чтобы меня привели в чувство: толкнули или наступили на пятку. Я растворялся в Зине, как кусок сахара в стакане, она пробудила во мне мужчину. Мальчик уходил в прошлое, и я не делал попыток его остановить. А значит, Зина... Да, Зина была женщиной, тем заманчивым, непознанным царством-государством, вступать в пределы которого мне не позволял возраст. Неравенство в возрасте обернулось против меня и оказалось сильней равенства в танце, как жизнь всегда сильней игры, какой бы изощренной та ни была.

Но влюбленность... Ей ли заниматься арифметикой, взвешивать на весах, кому да сколько?

Я совершил несколько удивительных поступков, которые в другое время мне были бы не под силу. Зачем-то снял ворону с дерева. Ребята запустили змея, он упал на старую ветку, и, к несчастью, на эту ветку села ворона. Села и запуталась в нитках. Когда я проходил мимо, она висела вниз головой и беспомощно взмахивала крыльями. Возле дерева собралась толпа интеллигентных зевак, все ждали появления настоящего мужчины, который в виде меня возник, как из сказки. Ствол городской ветлы оказался до того закопченным, что руки мужчины быстро покрылись сажей, но он этого не заметил. Он перегрыз нитку зубами и спустил ворону вниз, там ее распутали, но взлететь ворона не могла: перебито крыло. Мужчина спрятал ее под фуфайку и отвез в детский звериный клуб на противоположный конец города. Этот же мужчина поднял в вокзальной толчее кошелек с деньгами, но раскрывать его не стал, отдав дежурному. Тут же по радио объявили о пропаже, что для мужчины явилось продолжением звучавшей в его душе музыки. Последним поступком в этой цепи был перевод старушки через улицу. Он осложнился тем, что старушка каблук попал в хитросплетения рельсов и застрял, но мужчина старушенцию не бросил, а наоборот, остановил трамвайное движение. Старушенцию отнесли на тротуар, но мужчина не ушел, пока не вызволил ее сморщенную туфлю, потому что любому человеку, будь он стар или молод, без обуви нельзя. Не ушел мужчина и после того, как его деятельностью заинтересовал-

ся милиционер, потому что туфлю надо надеть на ногу; пока она не надета, она не может считаться туфлей. И лишь дождавшись улыбки на лице старой женщины и препроводив улыбку милиционеру, мужчина дал стрекача. Он был страшно юн, и по этой причине милицейский свисток застыл на полдороге к губам.

Зина не пришла. Я переобулся в резиновые сапоги и отправился в деревню. По дороге мне встретилось несколько пар, но Зины среди них не оказалось. Возле крайней избы я остановился и громко спел первую пришедшую на ум частушку:

Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу:
То ли гвоздь в окошко брошу,
То ли фигу покажу.

Довольный произведенным эффектом (в избе погас свет), я отыскал Зинаидино крыльцо и постучался. Ответил бодрый старушечий голос, а вслед за ним появилась Зина в легком коротком халатике в полоске идущего из сеней света.

— Ванечка, — узнала она меня.
— Почему не пришла? — спросил я сердито.
— Дела, — ответила она уклончиво.
— А я частушку спел, — сообщил я и показал глазами.
— Бедовый! — воскликнула Зина.
Через минуту она вышла ко мне, одетая, и спросила:
— А еще можешь?
— Могу, — ответил я, — но... для кого?
— Для моего личного врага.
— Который был вначале другом? — засомневался я.
— Понимал бы ты чего, Ваня.
— Женщину можно обидеть, но быть врагом... Ты чего-то не договариваешь.

— Ну и катись, трус, — сказала Зина и вышла за калитку. В полном молчании мы подошли к «вражеской» избе, Зина круто развернулась ко мне и лукавым голосом повела:

— Жили-были три сестры. Они были богаты, но картавы. Подошло время выходить замуж, но как скрыть изъян? Женихи-то не идут. А один все же пошел. Дай, говорит, проверю, может, зря болтают. Пришел жених, а сестры уговарились молчать. Жених сидит, а невесты — ни слова. Долго они молчали, пока жених не решился их спытать. Закурил он папироску да и бросил на ковер. Сидят все, а ковер дымится. Наконец, одна не вытерпела: «Каварер, каварер, поровик-то прогорер». А вторая: «Ты б сидера и морчара, будто деро не твое». Третья: «Срава богу, проморчара, ничего я не сказара».

— Кого клеишь, Зинок? — раздалось по ту сторону забора.

— Не твоя забота, Феденька.

От избы отделился коренастый парень с могучей шеей и большой косматой головой, совершенный мой антипод.

— Вот эту соплю? — кивнул он на меня.

От внезапно нахлынувшей обиды, что меня, свободного человека, походя, грубо оскорбили, перехватило горло. Пока я соображал, накинуться с кулаками на молодчика, которого называли Федей, или ответить в его стиле, Зина спокойно ответила за меня.

— Чистая слеза, — сказала она.

И с этими словами привлекла к себе.

Федя заволновался. Мы стояли близко друг к другу, разделяя забор, и я увидел, как ходят его скулы в свете полыхающей папиросы, как ему легче выдернуть штакетину и обрушить на наши головы, чем видеть прикосновение Зины к незнакомцу.

Видимо, он знал силу этого прикосновения.

— И эта сопля тебя любит?

Опять я весь задрожал, но Зина крепко сжала мою руку, мол, не уподобляйся, не отвечай на грубость.

— Я люблю Зину, — подал я голос. Голос получился достаточно басовитым, и я добавил:

— И не люблю «налимов».

— Вопросы будут? — улыбнулась Зина в темноте, я почувствовал.

Федя хотел залепить в нас окурком, но сдержался, кинув его под ноги и наступив.

— Опосля, — хрустнул он штакетиной. Без физических действий он, видимо, не мог. Заскрипело крыльцо под его ногами, хлопнула дверь, я наклонился и поцеловал Зину. Она в ответ тоже меня поцеловала, и мы пошли, обнявшись.

— Дура я, дура, — обеспокоилась она, когда мы сели на завалинку.

— Почему?

— Впутала тебя в это дело.

— Не бойся.

— Как не бойся? Он же зверь.

— Какие у тебя отношения с ним?

— Вот о чем, Ваня, не спрашивай, так об этом.

— Тогда я пойду.

— Погодь, — остановила меня Зина. — Ты в самом деле меня любишь иль так сказал?

— Так, — ответил я, помедлив.

— Ну, иди.

Я миновал калитку.

— Нет! — крикнула Зина. — Я провожу.

— Не маленький, — запротестовал я.

— Иди по задворке!

Федя ждал меня. Поглядывая на низкое, в рваных тучах небо и стараясь поймать его отражение в очередной луже, я на выходе из деревни чуть не споткнулся о крутой, лежащий на дороге камень. Камень вдруг поднялся, оказавшись Федей. Я знал, что наша встреча неминуема, но все равно вздрогнул. Федя зашелся в нехорошем смехе, как бы предвосхищая произведенное им впечатление, но я кое-что заготовил для встречи. Во всяком случае догадался, что при неравенстве сил надо нападать первым.

— Буду ходить, пока ты на ней не женишься, — прервал я его смех.

В этой фразе заключалась вся моя сила. Свалить такого бугая можно было только гранатой, но где я ее (хотя бы для острастки) раздобуду? Если я с равными промежутками буду повторять эту фразу, результат, положительный или отрицательный, получу. Что от меня при этом останется, мне было все равно. Но надо бить в одну точку.

Федя, который хотел поиграть со мной, как с цыпленком, задумался. В его нетронутом мозгу что-то напряглось. Теперь он мне даст в худшем случае пинка.

— В том, что я здесь, виноват не я.

— Уж не я ли? — ощерился Федя.

— Ты.

Мое тело неправдоподобно легко оторвалось от земли и полетело в кусты. Ветки немного смягчили падение. Федор, слава богу, решил попугать.

— Собака на сене, — угрюмо оказал я из кустов.

— Мотай, ерш сопливый.

— Я на ней женюсь, понял? — злил я Федю.

— А ну...

— Такими девушками не бросаются!

Федя припустил за мной, но мои ноги оказались резвеем. Он гикнул вдогонку, словно отставшей от стада корове, и я догадался, что он имеет дело с животными, пастух или конюх. В момент падения я прикусил язык и выдрал клок ваты из фуфайки, в остальном обошлось. Во всяком случае мать ничего не заметила, потому что домашний ангел выручил.

Впервые я задумался над тем, что есть любовь и что есть игра. Почему я не признался Зине? Что помешало? Готов был ответить «да», а язык промямлил «нет». Моя натура, такая

целеустремленная, любящая, вдруг дала трещину, и в эту трещину, пожалуйста, просочился яд отрезвенья, как в рану — грязная вода. Всю неделю до встречи с Зиной я мучительно искал ответа на этот вопрос.

А может быть, не игра? Я люблю Зину, но люблю в клубе как послушную партнершу, а за стенами клуба подчиняюсь ей. Почему? Потому что за стенами клуба — жизнь, то, что я плохо знаю. Зина знает жизнь лучше, и я тянусь за ней, стараюсь говорить на ее языке. Вот это и есть игра: я объясняюсь не на своем языке! Я лишь хворост для поддержания огня чужой жизни. У Лермонтова, которого мне подарил Эдик, я вычитал строчку, повергшую меня в смущение: «Ты ангелом будешь, я демоном стану». Неосознанно, но упорно я стремился именно к такому типу отношений (демон — ангел), но получался ли он у меня с Зиной? На меня поглядывал домашний ангел, но еще такой юный, такой неоперившийся, неокрепший, не всегда сытый, что я его не замечал...

Идти или не идти? С клубом было покончено, но Зина влекла неодолимо. Как ни умствовал я, какой бы горечью ни отравлял себя, Зина оставалась тайной, загадкой... О Федоре я не вспоминал, потому что не боялся его: припугнет, но стукнет, но не убьет же.

С неба звездочка упала
Прямо Федору в штаны.
Что б ему ни оторвало,
Лишь бы не было войны, —

схулиганил я возле Фединой избы (как научила Зина) и прошел дальше. Зина услышала мои художества и буквально зацеловала: такой я ей очень нравился. Она поджидала, тепло одетая, веселая, смешливая.

— Ну как ты, Ванечка, целуешься? — укоряла она ласково. — Не дыша. Так и умереть можно.

От нее пахло дорогими духами и пудрой. Странные для деревни запахи, но приятные. Еще я уловил запах пошивочной мастерской и догадался, что Зина — швея или что-то в этом роде.

— Вязальщица, — поправила она, — надомница.
— А правда, у тебя две сестры?
Все это в перерывах между поцелуями.
— Две, обе замужем. Одна я неприкаянная.
— Зин, выходи за меня, я согласен.
— Для любви ты, Ванечка, может, и сгодишься, а для жизни...
— Я работаю.

— За партой тебе надо сидеть, Ваня.
— Переберемся в город.
— В общагу? Нет уж. Пущай голодают другие, а я люблю поесть. Да и маманю не оставлю.
— А учиться тебе не хочется?
— Вечор мне дали грудничка подержать — я вся затряслась. Вот и суди, чего мне хочется.
— Фу, они такие противные.
— Много ты понимаешь.
— Зин, ты какая-то необыкновенная сегодня. С чего бы?
— Цыганку встретила на станции. Нагадала всякой чепухи — ан нет, смотрю — сбывается.
— Что именно?
— Целоваться, говорит, будешь с одним, а пойдешь...
— За черта лысого, — пошутил я.
— Бессонную ночь, Ваня, нагадала.
— С крестовым королем или бубновым?
— Смейся-смейся. Я тоже не верила.

Зина поднялась на крыльце такая серьезная, что я задержал смех в груди. Кажется, и Зиной овладела идея.

— На танцы придешь?
— Соскучилась.
— А сейчас что будешь делать? Спать?

Нет, женщины — это непредсказуемые существа, размышляя я по дороге, — во всяком случае полностью противоположные мужчинам. Или их надо изучать и не пожалеть жизни на это, или бросить занятие в самом начале и вот почему. Мужчине пристало заниматься делом, а не женщинами. Дело для мужчины — всё; он вникает в него, роет, копает, непрерывно углубляясь, находит или теряет (не имеет значения) и в конце концов извлекает результат (какой — тоже неважно), а женщина неизбежно, поскольку природа не терпит пустоты, появится рядом. Появится тихо, незаметно, сначала как спутница дела, а потом как спутница жизни. Мужчине не надо искать женщину, она сама его найдет. Она это сделает лучше, точнее, потому что в ней заложен инстинкт продолжения жизни. Я припомнил танцульки в клубе и тихонько рассмеялся. Господи, а там-то по какому закону находят друг друга?

Так я по своему обыкновению доискивался до смысла, пребираясь в полной темноте. Мне нравилось разговаривать с собой, и я не удержался, чтобы не спросить: «А если довериться женщине и пойти за ней?» Ничего страшного не произойдет. Такой союз возможен, такие союзы есть. Правда,

в них мужчина и женщина меняются местами, ну и что? Кому-то это очень подходит, кому-то нет. А вдруг мне подходит?

На выходе из деревни росло несколько вековых лип, таких раскидистых, что ветви простирались над тропинкой, и мне показалось... Это было таинственное место. Показалось, будто в ветвях кто-то притаился. Я вспомнил про нечистую силу. Но осторожничать не стал — шагнул под сень облетевшей кроны. В ту же секунду на мою голову обрушился такой чудовищной силы удар, что я упал и потерял сознание. Очнулся в хлеву; пахло навозом, через дощатую перегородку шумно вздыхала корова. Я лежал на месте теленка, Зина хлопотала рядом. Она то поправляла компресс на моей голове, то подкручивала фитиль в лампе, а когда я застучал зубами от холода, накрыла меня старой пальтишкой. Зубы не унимались, и Зина легла рядом, приобняв. Высвободив руку, я стащил с головы мокре полотенце; пальцы нашупали что-то липкое.

— Кровь, — прошептала Зина.

— Хочу домой.

— Нельзя тебе. Лежи.

— Федькин подарок?

— Федька притащил тебя сюда.

— ?

— Наши шли с танцев, наткнулись... Как полуумные закричали...

— Что ж он к себе не взял?

— Я велела ко мне.

— В хлев?

— В избе маманя. Болеет.

Пока Зина ходила за сухим полотенцем, я сделал попытку уйти, но движения были, как у слепого: я не мог ориентироваться. Зина тugo перевязала мне голову и наполнила горячим молоком с медом. Ловким движением откуда-то сверху спустила ворох сена, и мы зарылись в него, как в постель. Лампа притухла сама, сделалось темно, и я согрелся от близкого дыхания Зины. Она все дивилась цыганке, на-ворожившей бессонную ночь, время от времени повторяя: «Надо ж, надо ж», и под это бормотание я уснул.

Проснулся я от того, что кто-то, склонившись надо мной, плакал. Прислушался: Зина. Я шевельнулся, и тотчас Зинасыпала меня горячими поцелуями, радуясь тому, что я жив. Ей показалось, я умер, потому что перестал дышать. Признаков рассвета не было; я сел, привыкая к темноте. Зина гладила мой затылок, одновременно снимая соломинки, и просила прощения. Голова не болела, но во

всем теле ощущалась слабость, я напоминал проткнутую велосипедную камеру.

— Да брось ты, Зин... — успокоил я ее.

— Я, старая дура, во всем виновата, я втравила тебя.

— Зин...

— Не будет мне жизни, пока ты не простишь, ой не будет!

И она заревела во весь голос. Где-то на насесте недовольно заквохтали куры, а корова сделала усилие подняться, стукнув копытом. Теперь я стал гладить Зину, вынимая соломинки из ее волос.

— Ну! — сильно встряхнул я ее, и она замолчала.

Пахнущий духами Зинин носовой платок дополнил картину успокоения. Мы молча обнялись.

— Не сердишься? — спросила она.

— Нет.

— Я плохая, Ваня. Свое счастье на твоем несчастье хотела построить.

— Ты хорошая, Зин, я люблю тебя.

Зина долго молчала, вникая в смысл сказанных мною слов.

Переспросила:

— Правда?

— Жаль вот...

— Что?

— Что не согласна пойти за меня.

— Я согласна, — ответила Зина.

Настала моя очередь надолго замолчать. Ровный гудящий свет проник в уголки моего сознания. Я сидел счастливый, боясь пошевелиться. Свет набирал силу, разгорался, вот уже стало больно глазам; я закрыл их, чтобы не ослепнуть. Теплые токи побежали по мне, словно я стоял под солнечными струями или был подключен к невидимому источнику. Рука, висевшая плетьью, наполнилась горячей жидкостью, стала осязаемой; я скимал и разжимал кулаки, не веря, что сила вернулась ко мне, но это было так. Вместе с нею приспели волнение, замешательство, и, наверное, я бы долго сидел истуканом, если бы Зина просто и ясно не позвала:

— Муженек мой...

... Когда я миновал утром деревню, возле старой липы наткнулся на огромный сук, отломившийся и ударивший меня. Все это выглядело правдоподобно, если бы не тихая, умиротворенно-звездная ночь, просвещивающий сквозь ветви Млечный Путь и мелькнувшая на мгновение тень, не помещавшаяся мне. Однако я не стал доискиваться до причин, хотя меня и подмывало завернуть к Федору и посмотреть

в его налимы глаза. Я был счастлив, как никогда в жизни, пулей пролетел два километра до поселка, матери нет (ушла на работу), и лишь расширившиеся от ужаса глаза моего домашнего ангела напомнили мне, что я пережил события отнюдь не рядовые. Впрочем, к приходу матери я имел на руках освобождение от работы, выстриженный клок волос на темени и замечательно правдивую историю о том, что со мной случилось.

Я пребывал в состоянии полусна. Даже приезд Эдика не вывел меня из него. Эдик рассказал о переменах: он теперь не сын «врага народа», а просто сын своего отца, которого оправдали по всем статьям, и не сегодня-завтра отец вернется. Поэтому из мастерской он уходит, цель — поступить в институт, а для этого надо экстерном сдать за девятый и десятый классы. Это была моя жгучая мечта — окончить экстерном школу, но слова Эдика прошли мимо моего сознания, как и то, что он обрел отца, а у меня его никогда не будет. Я лишь глупо улыбался и поддакивал. Эдик на прощанье оставил свой адрес, пожелал скорейшего выздоровления, а в дверях шепнул, что ко мне наведается оптовик по сбыту подпольных пластинок.

Я ни о чем, кроме Зины, не хотел думать и лишь ждал, когда зарастет ушибленное место, чтобы увидеться с ней в клубе. И вот миг: я, начищенный, наглаженный, подстриженный, весь из себя ловкий, наодеколоненный и даже красивый, одним махом преодолеваю стометровку до клуба, взбегаю на крыльцо, так, дальше — касса, бильярд, зал танцующих, медь духового оркестра, мое место в углу и всё — тупик, я вернулся в прошлое. Возмущенный таким обманом, я проделываю обратный путь, гляжу в сторону деревни, в темень, откуда должна появиться Зина, и подая мыслишка, что Зина никогда больше не появится, что ТО было РАССТАВАНИЕМ, колет душу. Падает легкий снег, идущие из деревни на танцы кричат мне: «Эй, проморгал девку, она выходит за Федора!» Я плачу, кажется, впервые в жизни, и от моего торжественного вида ничего не остается. Я бреду по снегу, поникший, старый, больной, и оплакиваю первую свою любовь. Одна из деревенских девушек украдкой вешает мне на шею связанный руками Зины шарф, а это значит — конец, никаких надежд. Впереди целая жизнь, но буду ли я жить в ней? За спиной освещенное крыльцо, на крыльце не сводящий с меня глаз домашний ангел, отважившийся на первые в своей жизни танцы, но нет сил обернуться.

1988.



КОЛОСОВИКИ

Два старика у нас осталось из тех, кто эвакуировал завод, или, как его называют, «почтовый ящик». Остальные... Дотянут до пенсии... А ведь не воевали и ранений не получали.

Старики и думать не думали, сколько их, но вот пришли пионеры и пригласили на сбор. И на этом сборе выяснилось, что — двое. Вожатая рассказала о большой проделанной следопытами работе по выявлению героев тыла, им повязали красные галстуки, сфотографировали... Казалось, старики должны радоваться, что им такой почет, тем более, рассказать им было что, но странное действие произвел на них этот пионерский сбор.

Вечером, когда один из старииков, сухой, жилистый ревматик дядя Миша Ваганов, сидел у себя на кухне, под его окном обе лавки оккупировали рыбаки, грибники. Охотники в поселке вывелись, ружей ни у кого нет, а эти еще остались: кому соврать хочется, а кто и правдивую историйку готов рассказать о необычном улове или грибной удаче. Молодой плутоватый Цинька, шофер «КАМАЗа» (глаза у него непрерывно бегают — никак не поймешь, что на уме), не знал о том, что стариков сосчитали, и по своему обыкновению вертел в пальцах крестообразный шуруп. Дядю Мишу разыгрывали на этом шурупе. Смотрит он, смотрит на него, потихоньку накаляется и... Все получают удовольствие.

— А ведь какой-то... премию отхватил! — тычет дядя Миша в крестообразное углубление пальцем. — Туды еще закручивается, мать-перемать, а назад? Как назад, я спрашиваю?

— А так, — подливает кто-то масла в огонь.

Прямо на скамейке пробуют. Дядя Миша выносит крестообразную отвертку, на которую недавно, скрепя сердце, потратился. В самом деле, назад — никак. Шлиц съедается. Ваганов на коне:

— Во чём у нас людей занимают!

У Ваганова открыто окно, и подначку он видит, но нет настроения. Засела в голове мысль, что сейчас их двое, а не за горами день, когда один останется. Один. И никак не хочется ему умереть последним.

Колготятся молодые мужички. «Может, и хорошо, что ничего они этого не видели, — размышляет Ваганов. — Как завод втискивали в один состав, как ползли под «юнкерсами», как разворачивали в голой степи. И все рукам, рукам».

Цинька вещает голосом Ваганова:

— Все удобство — из магазина достести. Белая плашка, черные ножки в красивой упаковке. А дальше? Дальше, я спрашиваю? Вихляется такая, с позволения сказать, табуретка, как ... А уж встать на нее... Моя старуха, когда жива была, увидела таракана в кухне, взгромоздилась и...

Взрыв хохота. На него откликается не Ваганов, а живущий в этом же доме второй старик, дядя Боря Тросов, широкий, низенький. Голова прямо в плечи переходит. Как и все сердечники, он очень подвижен. Ни минуты спокойно посидеть не может. Черты лица у него большие и мягкие, как у женщины, и вообще он больше похож на женщину: полный, кубаристый, да ко всему прочему легковерный. Будучи легковерными, женщины, например, хитры, а он... Легковерный и бесхитростный! И про пионерский сбор забыл, и про Ваганова. Потому что услышал про грибы.

Тросова давно сжигает страсть — грибы. Грибник он редкий. По всем приметам, должны народиться колосовики — крепкие июльские подосиновики, — от запаха которых в доме все оживает, а о вкусе и говорить не приходится: его и на том свете вспомнишь. Но так получилось, что за колосовиками Тросов не сходил ни разу. То работа не позволяла, то момент упустит. И вот сейчас... Одна беда: куда? Поблизости ничего нет. Чтобы набирать корзинку, не один десяток километров накружишь по лесу. Оpushки заняты стадами телят, пасущихся с ранней весны до поздней осени, дальше полосуют лес мелиораторы, превращая его в подобие стиральной доски, и, наконец, в глубинных заташках, куда и человеку-то пробраться трудно, вдруг обнаруживаешь «Икарус» с туристами. Потому и перевелись грибники, а про заядлых и говорить нечего: один Тросов остался.

Цинька, мгновенно оценив обстановку, переключается на Тросова.

— Грибов, мужики, грибов! Не собирал их никогда, а тут рука не могла остановиться, аж почернела. Сначала с корнем рвал, а потом только шляпки, шляпки...

— Где? — спросил прямо из кухни Ваганов, потому что увидел, как Боря Тросов завелся с пол-оборота, смотрит этому Циньке в рот и готов ехать с ним за сто километров ки-селя хлебать.

— Не доезжая Петрозаводска, дядь Миш, — невозмутимо поднял глаза Цинька. — Свернул на грунтовку и полдня кишками горлом считал, но зато...

— Грибы где? — уточнил Ваганов.

— А-а, — улыбнулся Цинька, — на помойке. Пока туда-сюда... Пришлось вытряхнуть из рюкзака.

— Мать честная! — в сердцах хлопнул себя по бокам Тросов и засновал членком вдоль скамеек, пихнув руки глубоко в карманы.

— Очередной художественный свист, — подвергнул Ваганов сомнению рассказ шофера.

Цинька, как и все врали, зашелся от несправедливости: ведь он своими глазами видел триста подосиновиков, с места ему не сойти! Но больше он не потратит на них ни минуты, а лучше займется сбытом керамической плитки, червонец за ящик, как все шоферы делают. Но если хотят убедиться, что он не врет, пожалуйста: хоть завтра возьмет.

— Его, — кивнул Ваганов на Тросова, — с мешком валилода.

Тросов настолько вошел в раж, не слышит, что это — про него. Он не здесь, он там, в лесу. Согласен, едет.

Мужики подсчитывают: за световой день не обернешься, придется заночевать на сосне, значит, грибы испортятся, нужно с ними что-то делать на месте, то есть варить или сушить, словом, нужна грибоварня, а потом уж... И вот дело раздувается до грибоварни, которую Тросов и едет строить, один, конечно.

Ваганов облегченно вздохнул: Цинька понял, что от него требуется, и незаметно исчез. Хоть и плут, но не дурак, чтобы заниматься прожектерством со стариками. Незаметно разошлись и другие.

— Двинем-ка по своему маршруту, — успокоил вышедший Ваганов своего впечатлительного друга, — на жареху наберем, а чего нам еще?

Тросов отвел руку.

— Завалишься, — пригрозил Ваганов, — искать не буду.
— Боишься, я — раньше?

— Боюсь, — согласился Ваганов. — Вчера сходил в сберкассу и завещание на тебя переписал.

— А сын? — вытаращил глаза Тросов, пытаясь определить, насколько далеко зашло это у Ваганова.

— Что сын? Приедет на третий день. Человек служивый — отпустят не сразу. А тут с первого дня хлопот по горло.

Некоторое время старики сидели молча, не борясь с наседающим комарем, потом Тросов примирительно сказал:

— По маршруту — так по марш...

Неожиданно он смолк, потому что в сторону скамейки свернулся человек с плетеной корзиной на согнутой руке. Это Ваня Дюжев, сменный мастер первого цеха, ему за сорок, но он все еще играет в футбол, и идет он не из леса, как вообразил Тросов, а с огорода, куда его послали за скороспелкой. Ваня подсел к старикам и без дипломатии, напрямик, так, как он это делает, когда играет в защите (отбивает подальше), попросил дядю Борю Тросова поработать месяц в его цеху. Всего месяц.

О том, что делал Тросов на заводе, можно только догадываться. Много там разрослось служб и подразделений, но есть и всегда были центральные. Так вот Тросов всю жизнь — в центральном, которое работает безостановочно, но сейчас время отпусков, и требуется подмена.

Огорченный Тросов (думал, Ваня его — в лес) сначала вставил пальцы в уши, потом засвистел, а когда Ваня повысил голос, пустился в присядку с прихлопыванием в ладони. «Ата-ата, ата-та!» Ваня несколько озадаченно посмотрел на бывшего своего рабочего, с которым столько лет протрубил и хорошо вроде бы знал, но именно как рабочего. А с пенсионером столкнулся впервые. И потому, схватив корзину, стал пинать все лежащие на дороге камни, бормоча насчет инакомыслящих: «... до Москвы в наклон не переставишь».

Затихла консервная банка, которую долго гнал по дороге обиженный Ваня, отзывались газетные шлепки напротив (били комаров перед тем, как лечь спать), а старики все сидели.

— Борь, — тронул Ваганов своего друга за локоть, — но ведь ты не ешь их.

Фраза эта, несомненный козырь Ваганова, повисла в сгустившемся синеватом воздухе. Но сказав ее, Ваганов понял, что ничего не достигнет, а только обозлит Тросова. Если человек что задумал, особенно русский человек, его не отвадишь. Всю жизнь Ваганов проработал в слесарке и сейчас,

сравнивал друга с отточенной мягкой сталью, по которой время от времени надо проходить рашпилем. Он и прошел. Разок. А второй? Второй не надо, не поможет. Но тем не менее не удержался, потому как —русский человек.

— Не жрешь ты их, я знаю.

— Не приближайся к женскому вопросу, — попросили из темноты.

Оба они понимали, о чем речь. В этом вопросе расхождение у них началось давно. С тех пор, как Тросов женился во второй раз. Перед этим он пришел к Ваганову и обозначил фотографической карточкой предмет своего поклонения. Господи, Ваганов даже присвистнул: «Валерия Климовна из завоуправления! Согласен, красивая женщина, но разве ты не помнишь, она писала доносы? Я чуть не схватил срок из-за нее. Пока шло следствие, товарищ Сталин умер и тем самым спас меня от тюрьмы».

Думы Ваганова просты. В поселке знают о ней, а Боря делает вид, что не знает. Он ей простил. Он, видите ли, простил ей за всех, в том числе и за Ваганова. Но имеет ли он на это право? Ваганов не забыл, как его водили на допросы...

Сейчас бы они дошли, не торопясь, до леса, походили бы пару часов, а есть грибы, нет их — да черт-то с ними! Но Боря готов в лепешку расшибиться, потому что Лерочка вычитала в журнале про калории... «Ты, видать, тоже», — в третий раз прошелся рашпилем Ваганов.

... Тросов радостно косил глазом то в одну, то в другую сторону проносящихся пыльных обочин, припав грудью к..., а к кому, и сам не разобрал. Подкатил к нему на «макаке», пока он раздумывал, будить Ваганова или нет, кто-то из Крутасовых, они там все на одно лицо (четыре брата Крутасовых, у каждого по мальчишке, у каждого мальчишки по мотоциклу), и вот один из этих мальчишек звонко крикнул:

— За грибам, дядя Борь?

Ему бы отказаться, но в бесшабашном предложении, в импульсивной легкости, с которой все это произошло... Короче, вскочил и поехал. Потом стал думать. «Ваганов не простит. Но ничего: позлится и перестанет. Они договорились? Нет. Ну и все. Адское терпение нужно, чтобы ходить с Вагановым. С раздыхом, бесконечными остановками, а тут час по бетонке — и на месте».

— Ты чей же будешь? — спросил Тросов, когда они приехали.

— Сашка.

— Уж не сын ли... — Тросов наморщил лоб, вспоминая,

как зовут самого лихого в поселке водителя, который по причине несоответствия своего характера шоферской профессии немало машин покалечил, однако из передряг выходил, как говорят, сухим и даже сейчас на неотложке работает. Сашка подтвердил:

— Сын.

— То-то у тебя тормозов нет, — обеспокоился Тросов.

— Сейчас сделаю, — заверил Сашка, — походите пока.

Лес был незнакомый. Тросов поднырнул под его мрачный полог и очутился в сумеречной прохладе; звонко пели птицы, он прислушался, но к своему стыду не узнал ни одной. Через двадцать шагов кончились заросли волчеядодника и путающего ноги папоротника, стало светлее, и он попал в мелкий осинник с высокой редкой осокой. Здесь должны открываться грибы. Тросов замедлил шаги, затаял дыхание. Он решил сделать небольшой кружок, но неожиданно мотоцикл заработал, застрелял выхлопной трубой, и Тросову показалось, он удаляется по бетонке. В панике бросился он назад, увертываясь от бьющих по лицу веток: Сашка ездил по небольшой поляне.

— Чево! — закричал Тросов, делая страшные глаза.

Сашка выключил двигатель.

— Тормоза пробую, — испуганно сообщил он.

— Не вздумай удирать, — все еще тяжело дышал Тросов, — ты разве не знаешь...

Тросов не договорил. Подкатило к сердцу, он разжал пальцы, держащие корзину, и схватился за переносце. Этот нехитрый способ часто ему помогал, помог и на этот раз. Отпустило. На всякий случай положил под язык таблетку. Сашка наблюдал за его действиями с оттенком неодобрения. Предложил:

— Здесь все равно ничего нет. Махнем дальше, дя Борь?

* * *

... Было тихо, еще сумеречно, верхушки растущих во дворе тополей слегка алели от выплывающего за домами солнца, а Ваганов уже знал о выверте своего друга. Так и сказали ему: «Дружок-то твой...»

Ничего не оставалось, как сесть на лавку и ждать подробностей. Поселок быстро ожидал, особенно после открытия стеклоприемного пункта, куда понашло и понеаха-

ло. Но вести поступали скучные, по сути, одна: на мотоцикле, по треску — вроде бы «макака». А с кем? Куда? Не разглядели.

Несколько человек не позавидовали мотоциклиstu, потому что на своей шкуре испытали, что такое ходить с Борей Тросовым. Аукаешься с ним, аукаешься, вдруг — отрезало. Что случилось? Скукожится Боря под кустом, лицо темное, глаза молящие. Сердце. Что делать? Как спасать? Таштить до ближайшего телефона. Восемьдесят килограммов помножить на пять километров. Кто испытал это на себе, тот в следующий раз с Борей не пойдет. «Значит, неопытного поймал», — подытожил Ваганов свои наблюдения.

... Редкий сосняк с вкраплениями березы уступил место крупному осиннику, сильно кочковатому, с бочажными ямами, а через какие-нибудь пятьдесят шагов попался островок тихого, умилившего березняка. Тросов облизал сухие губы: на смене резко чередующихся полос леса ему уже попалось несколько крепких сырежек с зеленоватыми, загнутыми внутрь краями. Они с Вагановым обычно не брали сырежки, но эти были какие-то особенные, на срезе чистые, как сахар. И тут глянул на него подберезовик с тугой коричневой шляпкой и белой комлеватой ножкой, такой упругой, массивной, что, пока Тросов подсовывал под него пальцы, ему показалось: она отлита из бронзы. Вот они, первенцы лета, июльская отрада, одним словом, колосовики!

Готовую парить в грибном азарте душу Тросова останавливал периодически возникающий стук палки по сосновому сухостою. Это вторгся в лес Сашка, которому надоело возиться с мотоциклом. «Откуда ему знать, — кипятился Тросов, — что лес — это святыни, тайна, что здесь надо вести себя тихо и восторгаться?»

Взору открылась небольшая поляна, в самом начале ее горел красным фонариком бойкий подосиновик. Тросов поставил корзину и, не отводя завороженного взгляда от красной шляпки, обошел гриб кругом, приметив второй, под ивовым кустом, еще больше, еще внушительнее первого. Теперь надо срезать, не потревожив грибницу, но рука, погрузившись в мох, не могла нащупать начало ножки, и он вытащил ее целиком, великолепную, дебелую. Шляпка была даже не красная, а ярко-алая, брусничного оттенка. До второго гриба Тросов дополз на коленях (начала бить лихорадка), и в момент, когда доставал его из болотной прели, он не услышал стука палки по деревьям. Сашка улизнул, Тросов догадался, но не впустил эту мысль в себя сразу, еще полюбовался мощью гриба, представив, как Лерочка будет

красиво причмокивать, поворачивая его со всех сторон, как вообще в поселке придут в возбуждение от удачного грибного набега, а Ваганов перестанет страшить больным сердцем... Но вдруг его охватила паника, и он, подныривая под ветви, побежал назад, потому что перспектива ночевать в лесу пугала, как никакая другая.

Сашка отошел с мотоциклом далеко по бетонке и продолжал вести его, пока Тросов не закричал. Тогда Сашка остановился и принялся заводить.

— Что ж ты, собачий сын, — тяжело дыша, опустился Тросов на сброшенный пиджак, — нервы треплешь?

— Отец меня ищет, — мрачно объявил Сашка.

У Тросова подкатило к сердцу, опять он вцепился в переносье, выгнул спину и стал раскачиваться, запихнув две таблетки (одной показалось мало). Сашка струхнул:

— Да Борь, можно я заеду за тобой в шесть часов?

«Они появились на кромке болота, значит, им не хватает влаги, — размышлял о грибах Тросов. — В самые низкие места бы наведаться». Но едва он пошевелился, как боль напомнила ему, что это делать рано, надо посидеть, а еще лучше — собраться домой.

— Заводи, — приказал он Сашке.

— Не заводится... — выругался Сашка в ответ.

— Как же ты собираешься заехать за мной в шесть, когда у тебя сейчас не заводится?

Сашка понял, что перехитрить старика не удалось, и покраснел. Чтобы Тросов не увидел его лица, он склонился к мотору. Стал выворачивать свечу.

— Отцу ты зачем?

— «Газон» опрокинул.

— Какой «газон»?

— Вчерась, — признался Сашка, — выпили немножко, ну и... поехали кататься. Девчонок набилось на заднее сидение. Кувырнулись, и все разбежались. Утром отец спрашивает ключи от гаража, а я — тягу.

— А меня зачем взял?

Сашка промолчал.

— Так... — только и смог вымолвить Тросов. — Значит, «газон» в кювете, а отец тебя ищет? Хорош, нечего сказать.

— Да Борь...

— Час тебе сроку, — Тросов встал и отряхнул пиджак, — на приведение в порядок мотоцикла. Потом отвезешь.

* * *

... Ну вот и Ваганов остался один.

Как перст. Сидит на лавке, греет спину, хотя солнце скрылось за облаками. Прошла мимо соседка, пожаловалась на жэковских пьяниц: кран в кухне протекает, а они месяц как не идут. Для Ваганова это сигнал к действию. Спустился в подвал, где у него есть слесарные тиски, зажал болт и стал нарезать резьбу. Поймал себя на мысли, что не то делает, надо сменить прокладку в кране — и всего-то. Есть и резина, и пробойник, только наставить и стукнуть.

Вылез. Хлебный магазин и газетный киоск рядом, уж туда-то обязательно надо пойти: без газет и хлеба... Не идетсѧ. И не понимает, что с ним? Достал папиросы, стоит, курит. С балкона на него в упор глядит соседка, у которой кран течет, но он не замечает. «Дядь Миш, — говорит она, — на пиво дам». Не слышит.

Для чего-то пошел к школе, где в давние времена учился его сын, а жена работала уборщицей. Там сейчас строят рядовцы живут. Строят они детские площадки. Терема, катальные горки. Красиво, солидно. Раньше обходились турником, качелями да песочницей, а теперь подавай целые города на тысячи рублей. А зачем? В основе их те же качели. Это так же, как дорогой одеколон. Ваганов покупает одеколон за восемьдесят копеек, но как-то увидел за шестнадцать рублей. Смутился. Не предполагал, что есть такие одеколоны. Можешь не брать, но он существует.

У входа на него натолкнулись две девчонки в защитного цвета куртках. Ваганов улыбнулся виновато: оказывается, в нем не узнали последнего героя тыла...

* * *

... Весь этот час Тросов искал и не находил заветную полянку; злился на Сашку, а вместе с ним — на бескрылуую молодежь, с которой каши не сваришь. И на оторвавшуюся от ножки шляпку, что моталась у него в корзине... На Ваганова, ни разу не заикнувшегося об этом чудном лесе...

Ровно через час затрещал мотоцикл, а вслед за ним раздался Сашкин свист, но Тросов наткнулся на поросшую заячьей капустой ложбинку, уходившую в липовую чащу. Липы здесь чахлые, согнутые.

Пройдя под этими дугами, продравшись сквозь молодой, облитый паутиной ельник, Тросов увидел с десяток подосиновиков. Красные точки обрызгали ложбинку. Тросов глянул вперед: и там краснело столько же. Он смешался, не зная, куда ему теперь, вперед или назад. Жадность пересилила, пошел вперед, в это время его позвал мотоциclist, но он не услышал. Он различал только звуки молодоголосого грибного хора, который пел в его душе и которым он теперь управлял. Ох и много было подосиновиков: у Тросова ослабли ноги, и он ухватился за коромысло липы, которое тут же прогнулось до земли.

В нем быстро проснулся охотник: выкинув сыроешки, принялся наполнять корзину. Час пролетел, как минута: корзина была полна, но грибы все попадались. В дело пошел целлофановый пакет из-под завтрака, а потом и майка, которую Тросов быстро стащил, завязав с одной стороны узлом. Двигаясь по ложбинке и посматривая вперед, надолго ли это грибное безумие, Тросов понял, что пришла пора, нет, не вернуться сюда вместе с Вагановым, а — резать шляпки, одни шляпки, а ножки — выбрасывать. Жаль было ножки, сочные, хорошие, и потому он сложил их отдельными кучками на пеньках, но шляпки были еще лучше, алые красавицы-шляпки. Он как бы начал все сначала и постепенно нарезал корзину. Грибы внезапно кончились, как и начались, но ложинка, теперь уже петляя, звала, и Тросов двинулся по ней, прикидывая забрать ножки на обратном пути, если впереди ничего не встретится. Грибы как отрезало, но потрясенный успехом Тросов рыскал без устали, пока не увидел, что стоит в высокой траве в молодом лесу. А где же старый? Он повернулся назад, пытаясь найти вход в ложбинку, которая привела его сюда, взглянувшись в спасительные дуги-липы, под которые он только что подныривал... Ничего похожего. И тут он понял, что заблудился; корзина на сгибе локтя вмиг отяжелела, он остановился и посмотрел в небо, неожиданно сделавшееся сереньким и плотным. Где, с какой стороны солнце? Без ножек никак нельзя было возвращаться, и он побежал в ту сторону, где на пеньках ждали его комлеватые, с синевой на срезе грибные ножки. Но кто-то, словно следящий за ним весь день, остановил его порыв, дотронувшись снизу до сердца острой иглой; с полуулыбкой большого, но слабого человека ткнулся Боря Тросов в моховую кочку. И, может быть, впервые за весь день подумалось, что прав Ваганов, нельзя в лес одному, и этот день ему может стоить дорого...

... Возле старой котельной, где устроили пункт приема стеклопосуды, после перерыва собрался народ с корзинами и мешками; Ваганов, не глядя на часы, определил — четыре пополудни, и худшие его предположения оправдывают-ся. С трудом передвигая ревматические ноги, он повернулся в сторону Валерии Климовны. Та сидела у своего подъезда в окружении товарок-пенсионерок. Никакого беспокойства в ее лице по поводу исчезновения мужа Ваганов не прочел. Женщины судачили. «Какая земля стала холодная, сахар несладкий да нитки некрепкие, а вот раньше...» Ваганов составил план разговора; главным в нем было обращение к женщинам, а не к Валерии Климовне, хотелось с ними поделиться тревогой и наметить действия.

Но трудно оторвать однажды брошенный на Валерию Климовну взгляд, в котором у Ваганова соединились восхищение и ненависть одновременно. Так и в этот раз, приблизившись, он понял, что сорвется, скажет грубость.

С наступлением сумерек Ваганов оказался на территории кооперативных гаражей. Он искал мотоцикл, что увез Тросова поутру. Гаражи тянулись нескончаемыми рядами, открытых дверей было мало, мотоциклов в них — еще меньше, и Ваганову оставалось надеяться на случай, а именно — на характерный треск глушителя, который ему был знаком, да еще на то, что гаражей откроется больше, когда мужики вернутся с работы.

— Цинька!

Прошло часа два в томительном бездействии, прежде чем (слава богу!) на Ваганова выплыл розовый «КАМАЗ», за рулем которого сидел веселый Цинька со своим бегающим взглядом. Ваганов поспешил ему навстречу, размахивая кепкой.

Если в поселке случается беда, то шоферы, надо сказать, относятся к ней с пониманием: мало ли кого надо срочно подбросить к поезду, или в больницу, или, как сейчас, в лес — искать заблудившегося Тросова. Вот и Цинька, выслушав, посерезнел и тут же согласился.

— Хорошо, дядя Миш, — сказал он, — только крутасовский «газик» из кювета вытащу. Жди меня здесь.

Лишь к полуночи выбрались из поселка и с ревом помчались по бетонке. Ваганов, у которого от непрерывного курения кружилась голова, держал за шиворот пойманного Сашку (ох и нелегко это далось!), втиснулся в кабину и Ваня Дюжев, на поиски. Крутасовский «газик» оказался с поломанной осью, пришлось грузить его на борт автокраном, произошла заминка и с Сашкой, который потребовал отпуш-

щения всех грехов... События эти, возможно, происходили не в той последовательности, в какой описываются, это не главное, главное — о Тросове ничего не было известно.

На поляне, где остановились, стали просвечивать лес и сигналить, Ваганову стало плохо. Отойдя несколько шагов, он бочком привалился к кустам. «Так вот как это бывает», — удивленно подумал он.

— Стойте! — закричал Ваня Дюжев. — Не потерять бы того, другого!

Бросились к Ваганову. Расстегнули ворот черной засаленной рубахи, шлепали по щекам, массировали грудь...

— Цинька, назад что есть духу!

Зашумел мотор.

— В кузов, там воздуху больше!

Полетела в кузов телогрейка.

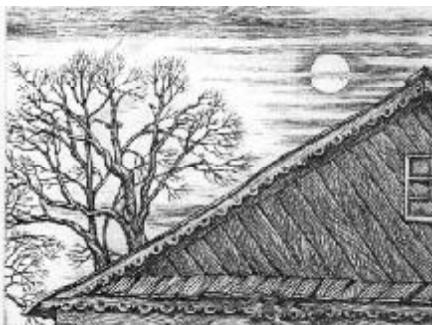
— У кого валидол есть?

Все были молодые — без валидола.

— У мен-н-ня... — раздался незнакомый дрожащий голос.

И в свете заднего красного фонаря показался нагруженный грибами Тросов.

1982.





ШУРИН СЫСОЕВ,

или

«Нам много денег не надо, нам лишь бы было тяжело»
(Небольшое повествование в письмах)

Письмо первое

— Дай вторую, чтоб тебя не искать.

Простите, тов. Мыльников, не знал, с чего начать, да вспомнил шурина. Обычно он так говорит, когда просит закурить.

Тов. Мыльников! Чрезвычайно рад с Вами познакомиться. Хотел лично засвидетельствовать свое почтение, но выехать не могу — семья, понимаете, жена болеет, а на мне огород и скотина. Картошка нынче хорошая, но лук гниет, и малина кислая, на трехлитровую банку, если варить варенье, придется добавлять стакан песку против прошлогоднего. Песок дают по талонам, прямо не знаю, как быть. А все из-за пьяниц. Правительство намекает им: кончайте квасить, мужики, надоели вы хуже горькой редьки, но это племя глухое ко всему, кроме бульканья в стакане. Стали сахарный песок на самогон изводить. А в конце лета до чего дошли: виноград скупали корзинами. Вы, тов. Мыльников, ближе к правительству, так скажите ему, чтоб не снижали до 30 копеек за кило. Пусть будет дороже, но зато он детям достанется. Поросенка мы взяли пополам с шурином Сысоевым, но тот уехал в Тюмень, жду его со дня на день, а он мне телеграмму: неделю за свой счет взял. Мы с ним оба шурины: я женат на его сестре, а он — на моей (в наших местах это не редкость), но я всегда помню, что он — шурин, а он...

Вы справедливо заметили, что рассказ мой получился недотянутым, но я в этом, честное слово, не виноват, это проделки Тоськи, машинистки поссовета, я написал один конец, а она напечатала другой, а иначе не соглашалась печатать. Расскажу как-нибудь, что представляет из себя эта Тоська, а сейчас — какую мысль я хотел в сочинении проповести. Кстати, если обложит поясницу или еще какая простуда, то лучше нашей малины средства нету. Она скорогонная, пропотеете под одеялом — и наутро здоровехоньки, только горло плотнее укутывайте шарфом. Пришлю-ка Вам баночку. Судя по полученному ответу, Вы человек хворый.

Так вот, описал я судьбу, близкую к Тоськиной. Сначала это худенькая девочка на раздаточнике, потом заведующая столовой, а под конец — заведующая общепитом в поселке, уже не худенькая. Близость большого города чем хороша? Позволяет выучиться, никуда не уезжая. Кто хочет, конечно. А вот муженек ее, как она ни тащила его по стезе знаний, так и остался на подхвате. Героиня в конце размышляет: «Зачем столько усилий, если они привели к обратному результату? С мужем не найти общего языка, семья распадается и т.д.» Тоська все это выкинула; мы поссорились. У нее примерно такая же история: муж слишком прост, не нужен. Требуется другой, а где его взять? У нас только женщины учатся, мужчины ленивы и повторяют жизнь отцов. Кстати, тов. Мыльников, можно пропотеть в нашей бане: мужчины моются, начиная с четверга, через день, с трех часов. Но в четверг не ходите, там одни пенсионеры, и они, как новичка, возьмут Вас в оборот: одному спину потри, второму...

А насчет того, что рассказ получился рыхлым, я с Вами, тов. Мыльников, хотя Вы и обозначили себя членом редколлегии, категорически не согласен. Если б Вы видели глину в наших местах, то подумали б. У нас глина веками слежавшаяся, дома ставят без свай, погреб замыслить — зовут взрывника, а Вы говорите. Все мы по этой глине ходим, откуда ж взяться рыхлости?

Тоська сказала, что на дурачка я не проскочу. Я понимаю. На дурачка только шурин проскакивает. Если ему куда надо, он говорит: «Я к папе», — и чешет, не оборачиваясь. И все ему верят, в том числе и Тоська. Но, тов. Мыльников, не обращайте на нее внимания, хоть и с высшим образованием, а баба. Взяла да пересобачила, если заметили, название рассказа. У меня было «История с географией», а она — «Дурак дурацкое». Как бороться с этим народом, не знаю, а машинка стоит дорого, мне полпоросенка надо отдать за нее, а от ружи, как ни старайся, я слышал, в журналах не принимают.

Тов. Мыльников, пишу я, сам знаю, плохо. Но народ у нас презанятный, каждый со своим норовом. Хотя б Вы будете иметь о нем представление да кой-когда черкнете мне. В двух словах это у Вас здорово получается.

Сообщите мне, какие Вы книги написали, чтоб мне почитать, я и другим их рекомендовать буду, кроме, конечно, шурина Сысоева. Я из-за чего с ним согласился держать поросенка? Он к Покрову его колоть будет. Я не могу, у меня руки дрожат, и на рвоту тянет. Он тоже не охотник, но если тяпнет стакан, то всю скотину в поселке перережет (запросто). В конце книги, той, что пришлете мне, на последнем листе я прочту Ваше имя-отчество, а если Вы служите и книг не имеете, то попросту сообщите, как Вас величать. А то у меня впечатление, будто разговариваю со столом, за которым Вы сидите.

Мой первый рассказ тягучий и унылый, как осенний дождь, и наплевать на него, посылаю Вам, тов. Мыльников, второй, посветлее. Мне моих сельчан писать не переписать, стоят они плотно в ряд, не знаю, кого выхвачу следующего и с каким сюжетом осилю. На сим кончаю, здоровья Вам, а также супруге Вашей и деткам. Низко кланяется в Вашем лице Великой нашей Литературе Лаптев Иван Михайлов.

Письмо второе

Тов. Мыльников, доброго здоровья, рабочего настроения, всего самого лучшего.

Как только отослал я Вам второй рассказ, так в тот же день стал мучиться, и правильно, что Вы мне его завернули. У меня там так заземлено, что даже стыдно. Когда проходишь мимо свинарника, известно, чем пахнет. Так и у меня.

Мой герой в детстве не мог подтянуться на турнике ни разу. А его постоянный обидчик, назовем его Цыпкой, подтягивался семнадцать раз! И вот герою в зрелом возрасте хочется доказать свое превосходство, но как? Цыпка опустился, днями торчит у пивной и т.д. Герой подходит. Встает рядом, с чего начать? С узнавания? Но узнавания не происходит. Цыпка начисто его забыл. «Че те от меня надо?» — вот и все узнавание, хотя и учились вместе. И тут герой понимает: кроме как подтянуться семнадцать раз на перекладине, он своему обидчику ничего другого предложить не может. И предлагает (ошибка это). Цыпка совершает невозможное: подтягивается в окружении сияющих собутыльни-

ков! Герой смотрит, как они удаляются с его червонцем по направлению к магазину: опять он проиграл! Не может взять в толк, что в нравственном отношении он выиграл еще в детстве, а в физическом у таких людей никогда не выиграешь. Короче, тов. Мыльников, рассказ получился заданным. Мне стыдно. Бракую его, а с Вас снимаю всякую ответственность.

Вы отвечаете мне языком, странным для меня. «Начало рассказа размыто, рыхло...» Смею спросить: ваши предки строили дороги? Мне показалось, Вы знакомы с нулевым циклом в строительстве: грунтовыми водами, оползнями, отклонениями по нивелиру. Мы пишем языком, который слышали в детстве. Я ловлю себя на том, что пишу языком деда, а Вы? Мой дед был портным, имел в Петербурге два шляпных магазина; один у него сгорел, другой он проиграл в карты. Разорившись, переехал с берегов Невы на берега Тосны. В этой Тосне он любил лежать. Руки запрокинет, ноги вытянет и... лежит. Тощий был, а не тонул. Потому что дыханием правильно пользовался. Мне об этом самый старый наш старик Иванов сказал. Увидел как-то меня в реке и сказал. Напомнил я ему дедка. Дедок тот еще был: пьяница, вор и авантюрист, точь-в-точь как шурин Сысоев, черт бы его побрал. Навязался на мою голову.

К Покрову поросенка мы с шурином не закололи по причине мозговой погоды. Дожидались морозов, а они только к Рождеству нагрянули. Пришел ко мне шурин, как сейчас помню, двадцатого декабря и с порога: «Ну, свояк, какого «графа» порешим?» Я сразу уловил, что он хвативши, но виду не подаю. «Безухова, — отвечаю. — Кого ж еще?»

Тов. Мыльников, у нас два поросенка: один, пудов на пять, имеет прозвище «Безухов», а второй, совсем маленький, на пуд, — «Монте-Кристо». Прозвища они получили так. Жена ездила в совхоз, там купила. Привезла, а ушей (или ухов?) у поросеночка нет. Перед продажей их держат скопом и не кормят; с голодухи они друг у друга ушки объедают. Юлька, моя поздняшечка (еще сын в армии служит), все приставала ко мне: «Пап, как поросеночка назовем, а пап?» Я, видно, тогда расстроился, мало ли от этого уха болезнь какая пойдет, расти не будет, в сердцах и бросил: «Откуда я знаю? Видишь: он без ухов!» «Безухов!» — подхватила Юлька, так и пристало к нему: «Безухов» и «Безухов». Жена, помню, смеялась: «Сами в графьях не ходили, так хоть поросенка походят». А второй такой шустрой попался, все первому не давал покоя, хоть и маленький, так дети сами его прозвали: «Монтик».

Шурин взял острый длинный нож и вошел в клетушку к «Безухову». Я тем временем костер распалил, рессоры от старой трехтонки нагрел, чтобы ими проутюжить шкуру. Детишки прыгают вокруг костра, жена в магазин пошла по такому случаю, словом, все чин-чинарем... Прислушиваюсь: тихо. «Вот это Сысоев, — думаю, — без звука уложил». Вдруг с треском падает дверь, с предсмертным визгом, от которого волосы становятся дыбом, выскакивает «Безухов», а за ним — мосластый шурин с ножом в руке. «Где?» — озирается шурин и — вдогонку за «Безуховым». Мужики об эту пору многие кололи, догнали на огороде, повалили, и шурин перерезал горло.

Я не стерпел, все ему выложил. «Мосол ты чертов, — стал ругать, — сердце-то у него с какой стороны? Э-э-э, налил зенки... Ты ж в легкое пырнул. А еще хвастал: я, я... Как мы его тащить будем? От костра за километр убежал...» Поднатужился шурин, бросил тушу себе на горб и пошел, бормоча на ходу свое любимое: «Нам много денег не надо, нам лишь бы тяжело было».

Извините, тов. Мыльников, за словоблудие, но им сопровождаю кусок «безуховского» сала, который посылаю. Кушайте на здоровье. Натер бы его чесноком, как все у нас делают, но не знаю Вашего вкуса. Головку чеснока на всякий случай вкладываю. Не побрезгуйте. Поклон Великой нашей Литературе и Вам, верному ее служителю, отвешивает Лаптев Иван Михайлов.

Письмо третье

Тов. Мыльников, доброго Вам здоровья и приятного времяпровождения. Не обессудьте, если потревожил.

Пришел я в ужас, тов. Мыльников, дорогой член редколлегии. Первый рассказ испортила мне Тоська, а вторые два — я сам. Да, сам. Банку варенья, чтоб не бултыхалась внутри деревянного ящика, я, помню, обложил (или обклал?) рукописью... Подумал, конечно, что может крышка сорваться или треснуть стекло, но думал-то на почте... По своей деликатности Вы промолчали, но я чувствую... А вторым рассказом обернул кусок сала. Горе мне!

С крышками (или крыжками?) беда. Дают как инвалиду детства пять штук в год, а как сторожу — нуль. Живу я в старой части поселка среди деревянных домов, у нас единственный продуктовый магазин, и я при нем сторожем.

Крышки дают зимой, а на зиму меня увольняют. Зимой не воруют, и заведующая решила меня не держать. А летом опять зовет, потому что дачники наезжают, но крышечки (или крыжек?) летом — сами понимаете... Может, на Невском с этим товаром полегче? Так я бы мигом закатал баночку.

Больше не буду обертывать варенье рассказами. И еще, тов. Мыльников, решил я писать от руки и посыпать не в журнал, а Вам. Не хочется каждый раз Тоське кланяться, чтоб напечатала. Уже слушок пошел, что я балуюсь, а шурин Сысоев, знаете, какие глаза сделал? Вы до сих пор стояли стенной за свой журнал, а теперь стену я снимаю. И мне не надо лезть на нее: только ногти обломаю, а ничему не научусь. А поучиться хочется. Слабость имею к словесному выражению. Если Вы иногда ответите мне по-свойски, запросто, то что еще надо простому, живущему малым достатком смертному?

А как допечет Вас болезнь, особенно в области желудка, то покорно прошу ко мне. Ну скажите откровенно: чем болеете? Отпою Вас молочком (у меня две козы) и стол в мансарде поставлю для работы. Имею мыслишку пчел завести, но это в будущем. Как только шурин Сысоев сделяет два улья.

Ох уж этот шурин! У них в штамповочной его без конца подначивают. И в этот раз с подначки началось. Но сначала о том, чем занимается Сысоев, а то непонятно будет. Он спец по штампам. Предположим, захотелось вам украсить потолок карнизом. Идите к шурину. Денег не надо. Прихватите две папиросы, потому что он сразу скажет: «Дай вторую, чтоб тебя потом не искать». Рисуйте в его присутствии. Если одну папиросу заложил за ухо, а второй — чадит, значит, забрало. У него мозги наоборот: там, где у нормальных выпуклость, у него — впадина. Как в штампе. Через час он Вам его вынесет, и можете заливать алебастр или гипс. Много потолков в поселке украсил шурин. И нет ни одного похожего. В народе он первое место держит, а в штамповочной...

Вот объявляют, кто победил в соревновании. Обычно середняк, у которого все гладко. А у шурина привод в милицию. И даже не здесь, а в городе. Стало быть, премию нельзя давать. Вышел он из вагона электрички, ступил на платформу и как заорет: «Клавка-а!!!» Бедная моя сестра рядом, и он знает, что рядом, но надо ему, балде, чтобы сто человек повернули головы в его сторону.

Ладно, идут дальше. В вестибюле вокзала заметил дверь в депутатскую комнату и громко объявляет милиционеру, что

он депутат Верховного Совета шестого созыва. Депутатом, видите ли, ему захотелось побывать. Созыва! И не какого-нибудь, а шестого. Милиционер аж под козырек взял. А когда выяснилось, что Сысоев ни к шестому, ни к седьмому созывам никакого отношения не имеет, то... словом, пришлось Клавдии одной по магазинам бегать, хорошо хоть деньги были с ней.

Таков шурин. Подначивают его то на «цыганочку», которую он якобы не спляшет в предбаннике (плясал), то на ныряние в самом мелком месте реки (нырял), а в этот раз — что не дойдет от проходной до автобусной остановки. На руках не дойдет. Слабак. Метров двести там. И взбрело же кому-то в голову: на руках! «Не дойдет, — подмигивают мужики. — А хвалился. Бахвал. Трепло». Шурин и сам впервые слышит обещания, которых никому не давал, но вот заплясала во рту папироса. Завелся. Не может отбрить. И что же: выкатывается из ворот небольшая кучка, которая постепенно растет, в центре — шурин. Прямо по шоссе идет, по середке, где почище. На руках. Догоняет его рейсовый автобус из Колпина, но ему не дают проехать, плетется сзади. Брюки опали до колен, и живот с полоской вырезанного аппендикса обозначился. Сыплется мелочь, а потом бумажные деньги (аванс), но Сысоев... Лишь время от времени просит мелкие камешки убирать, а то впиваются в ладони. И опять победил, и опять герой, и пиво льется рекой на его же деньги... А когда он это осознает где-то к вечеру, то перед тем, как отдать аванс Клаве, в его гениальной-наоборот башке возникает план... Короче, отдает он деньги и говорит: «На остальные купил ботинки». Держит ботинки в руках. Новые. Полное алиби. Не придерешься. И спит до утра.

А утром за ним приходят. Из магазина, откуда он эти ботинки стащил. И никто бы никогда в жизни не узнал, кто их стащил, но Вы не знаете шурина, не знаете Сысоева. Оставил в магазине записку. Положил на то место, где лежали ботинки. А что в записке? Отпечатки пальцев? «Искать бесполезно. Сысоев», — вот что там. Прямо не знаю, что с ним будет. Извините, тов. Мыльников, заболтался. Посылаю Вам лечебной травки с советами, как ею пользоваться. Если терпением бог не обидел, то поможет. Не устающий удивляться Великой нашей Литературе и Вам, верному защитнику ее, Лаптев Иван Михайлов.

Письмо четвертое

Убили Вы меня, тов. Мыльников. «В нашей редакции, — пишете Вы, — есть портфели, близкие по теме к теме Вашего портфеля, поэтому... возвращаем». Не знаю, плакать или смеяться. Моя Юлька смеется. Я тоже. Но грустно как-то. Вместо «портфеля» надо понимать «рассказ»? «Есть рассказы...» и т.д. Машинистка опечаталась, а Вы подмахнули, не глядя. Как же Вы, тов. Мыльников?

Качал я головой, качал, но потом глянул на исходящий номер и... Бедненький Вы мой! Всего полгода прошло, а Вы уже выслали полторы тысячи ответов? А сколько надо прощать, чтобы ответить? Секунды на соображение. Тут и запариться недолго. Слова перепутать. Адреса, фамильи. Ну и служба!

Напрашивается болванка. Единый ответ для всех. Тов. Мыльников, дорогой, не подумайте, что я издеваюсь. Но как облегчить Вашу участь? Только болванкой. Если получит ее умный человек, то поймет, что не в те ворота постучался, а если не очень умный... Риск есть: соберет такой несколько болванок, и они по Вам — того, бумерангом. Но и выход есть: заготовить несколько болванок. Слова разные, а смысл один. Если хотите, могу помочь. Со слезой, чтоб не так сухо. Болванка должна быть искренней. Тогда уж к Вам никто не подкопается. Умный допрет, что болванка, а дурак...

Тов. Мыльников, Вы даже не представляете, какая странная мысль пришла сейчас в голову. Обошел на всякий случай магазин (я на дежурстве), чтобы успокоиться. Нет, не могу. Посижу в холодке. Луна в три четверти, и тишина оглашенная. Парочки мимо меня к реке спускаются. Одну завернул. Тоськина дочь о двенадцати лет, а тоже к реке! Пошла волна: Тоська мужа по боку, а дети, они чувствительные... Вроде не обиделась. Еще бы: матери могу сказать. Родители у меня часто спрашивают, кто с кем гуляет. Свое мнение имею по каждому, но не навязываю его. Когда один гуляет с несколькими или простодушие гуляет с опытностью, словом, ненормальщина, тогда высказываюсь. А так... Пусть гуляют. Где еще и гулять, как не у нас? У реки туман, в черемуховом овраге бьет соловей, плеснет вдруг сонная рыба... В половине первого опять светлеет: белые ночи... Если б не комары, от которых девушки ветками отмахиваются (я — табаком), — рай. Вечно сторожил бы магазин и смотрел на парочки.

Кстати, о комарах. По какому праву живет этот зверь? Сколько крови высасывает за лето? Почему рыба дохнет от



химии, а он нет? Когда ж мы на него управу найдем? Все только смеются, когда я спрашиваю. А Тоська (слава богу, перестал ей рассказы носить) как увидит, так издали: «Комар Иваныч, как жизнь?» Будто я знаю. Сам бы хотел знать.

Отлегло немного, тов. Мыльников, теперь слушайте. Про странную мысль. Что если сочиняют люди по болванке? Не то чтобы преднамеренно (те люди конченные), а — не ведая? Как я, например. Дую, не ведая, а Вы мне — отписку, не ведая. Я Вам — болванку. Вы мне — болванку. Я Вам искреннюю — Вы мне искреннюю. И оба не знаем, что творим.

В «портфельном» рассказе, если помните, мой герой уезжал на раскопки древних городов, потому что любил историю. Но однажды, вернувшись, обнаружил ее следы у себя дома в виде оплывших окопов, ржавых гильз... Тоже ведь история, пусть недавняя, но живая. Ну как? Да так: болванка. Я для себя делаю открытие, другие это знают. Мы плодим болванки, а думаем — открытия. Мы вторичны, и пора признать: вторичность в литературе — прошлогодний снег.

Когда люди меняются квартирами, зачем, все думаю, они мебель перевозят? Абсолютно одинаковая что у тех, что у других. Оставляли бы на месте. Многое можно оставить. Все можно оставить. Только самим перейти. Да и то не всем. Глядя на это, и мелькнет: а может, и жизнь наша... а? Сколько себя помню, постоянно занимало меня одно: для чего я, для чего другие, зачем все то, что вокруг, почему все то, что вокруг, куда идем, зачем идем, почему идем, правильно ли идем? правильно ли, что правильно идем, а может быть, надо идти неправильно и тогда будет правильно, а может быть, надо идти, сочетая то и другое, а может быть — и не сочетая, а может быть, и не надо идти, а надо ждать, а может быть, идти назад, а потом вперед, а потом в сторону, потом опять вперед или назад... Почему, все думаю, рука тянется писать о шурине? Да он единственный, кто живет по душе, а не по телу. Мы все живем по телу, а он — по душе. Жизнь по душе накладна, но зато без болванки. Как Вы считаете: должны быть образцы такой жизни?

В два часа пойдем с ним сажать картошку. В скопан у него огород еще в мае. Да история вышла: взял на подмогу двоих мужиков. «Иди, поспи, — сказали они шурину, — сами управимся». И принялась за дело. Спустя какое-то время выходит он к мужикам, а те ему: «Беги в магазин, заодно и посадили». Сысоев обрадовался, к бутылке еще пару пива приложил (огород, знаете, выматывает). Ждет не дождется, когда картошка взойдет. А она не всходит. Люди очищивать

пошли, а у него гладкое серое пятно посреди зелени. Разгреб землю с краю, потом в середке — нет картошки! Ни одной. Сейчас только прибегал, помоги, говорит. Решили ночью посадить. Чтобы избежать насмешек. У нас в таких случаях советуют со стальным выражением лица: «Заодно и выкапывайте, чего уж».

Тов. Мыльников, перечитывать не буду, хотя, чувствуя, лишнего навалял. Но Вы это мигом проглотите, поскольку прикованы к столу. Решил послать Вам беличью шкурку. Теперь точно знаю: у Вас радикулит. Разотрите шкуркой поясницу до появления треска (электричества) и накладывайте. Так и ходите с ней. Тесемки выводите на живот и завязывайте. Приспособил я шнурки от ботинок, да забыл железные кончики обрезать. Обрежьте, чтоб в живот не впились.

На этом прощаюсь с Вами, тов. Мыльников, привет Вашей семье и детям. Преданный Вам и Великой нашей Литературе, Лаптев Иван Михайлов.

P.S. Забыл: ботинки шурину простили. Сразу видно: сготряча взял. Не свой размер. Но в штамповочную позвонили, а там известное: «Лишить премии». И еще, тов. Мыльников, разузнайте: есть ли в Америке бани? Надо.

Письмо пятое

Тов. Мыльников, я уж Вам сразу про шурина Сысоева. Сманили его два шабашника скот гнать в Тюмень. По железной дороге. Частники сдают коров, а они их перегоняют. Не знаю, зачем так далеко. Но чувствую, нефтяники оголодали. «Все равно в отпуске баклуши бьешь, поехали с нами? Всего делов: сена бросить да водицы дать. И мир увидишь, и с тыщей назад».

Поехал шурин. Ради мира. Красив мир. Но от красоты быстро (с непривычки) устал, потому что дорога дальняя. Глаз требует переключения. А переключиться на кого? На спутников, конечно. Соберутся они в одном вагоне, повалятся на сено и — анекдоты. Насмеются — и опять по рабочим местам.

Не знаю, тов. Мыльников, с какими людьми он поехал. А врать не хочу. Знаю только, не поселковые. Надоели анекдоты — за карты принялись. Вы думаете, шурин проиграл тысячу и обратно вернулся? Вы ж знаете, ему денег не надо, ему лишь бы тяжело было. И своего шанса он не упустил.

Одну коровенку шурин придавал, чтоб с молоком быть, а у остальных молоко быстро пропало. Поначалу заботил-

ся об ней на свой лад, а карты — это ведь зараза, стоит только начать. Короче, допустил буренку к сену, мол, ешь вволю. Весь день как-то дулись в очко, а буренка до того жадная попалась: опахнула весь угол. Поглядели мужики на живот: о-го-го! Лежит этакая бочка с бессовестными глазами и виновато икает. Стог сена внутри: ни вперед, ни назад. Шурин сгоряча даже руку запустил в пасть, но разве достанешь? «В такую пасть, знаешь, что класть?» — пошутили спутники. На какой-то станции поймали ветеринарного врача. Тот осмотрел и сказал: «Не встанет». Так и околела, везти дальше нет смысла, выбрасывать — совесть не позволяет. Решил Сысоев похоронить ее как человека: могила, крест, венок с надписью, от кого, да спутники не дали. Узнав о таком намерении, потихоньку от него погрузили тушу на самосвал и — в город, где и продали. Словом, кроме богатых воспоминаний Сысоев ничего не привез. Клава, сестра моя, рада: «Ладно, живой возвернулся и на работу никакой бумаги не поступит. А деньги... Лишь бы не было войны».

Позавчера приходил. Ульи принес. Настроение у него хорошее, премию получил впервые в жизни, но по глазам вижу: душа застоялась, мается. Душе не хватает новой истории. А раз не хватает, то она приключится. Без этого шурин — не шурин.

Решил я, тов. Мыльников, писать только о шурине. На рассказы нет времени. Магазин нынешней зимой обокрали, и теперь я сторожем круглый год. Даже берданку выдали. Если надумаете ко мне, то лучше в светлое время, потому что в темноте — я у магазина. Выкрикнете свою фамилию, чтоб нам сблизиться. Салом и малиной (а к лету и медком) буду угождать Вас здесь по той причине, что на почте посылки не берут. В самом деле: не знаю до сих пор ни имени вашего, ни отчества. А Вы, чувствую, так и не оторветесь от стены. До какого-то времени поддерживали ее, а теперь, вижу, она сама Вас держит. С дружеским расположением к Вам и Литературе нашей, Лаптев Иван Михайлов.

P.S. Поскольку рассказы у меня все равно не получаются, рискну предложить Вам сюжет. Герой узнает, что дни его сочтены. А у него трехкомнатная квартира. Чтобы оставить у людей память о себе, он обменивает ее сначала на двух-, потом на однокомнатную, потом на комнату. Семьи, которым он помог, по общему мнению, самые чистые, незапятнанные, устойчивые. Вдруг выясняется: он абсолютно здоров! Пробует переиграть все назад. И тут-то начинается его действительное знакомство с этими семьями, семей — с ним, а его самого — с общим мнением. Ну как?

Письмо шестое

Вы догадались, наверное, что у меня «Запорожец». Я и не просил, честно говоря. Но Тоська прибежала, подняла всех на ноги: «Теперь таким, как ты, дают». Господи, что тут началось! Жена, дети, сестра Клавдия, ее ребятишки прыгают выше головы в предвкушении, а чего? Поездки, что ли? Ну да. Покататься захотелось. Будто никогда не ездили. «На своей — нет», — отвечают мне.

Выправили бумаги. Заглохло потихоньку. «Вот и хорошо, — думаю. — Обуза, лишние хлопоты. Ездить решительно некуда: река, магазин, огород под рукой. На кладбище только. Но туда отвезут, придет время».

Сработало! «Запорожец» во дворе! Цвета вареного рака. Закатали на место коровы, меня учиться послали. Не стану описывать мучений. Тормоз со сцеплением путал. Единственное, что запомнилось, это положение рук на руле: без пятнадцати три, как на часах. И еще инструктор сказал: «Если я взялся за руль, то ты его бросай, а то возникнет ненужная борьба».

Хуже коровы эта машина. Пожиратель времени и нервов. Два шага до магазина. Нет, надо, чтобы все видели, как мы едем эти два шага. К реке — только спуститься. Нет, надо через весь поселок — к пляжу, где теснота. У шурина прав (или правов?) нет, а за барабанку подержаться хочется: значит, убивай вечер на него. Юльку в пионерский лагерь отвезти еще туда-сюда, но по городу? По городу я отказываюсь ездить, так что придумали: до метро. Ныряют в метро, а я — жди целый день. От нечего делать стою в очередях, замеряю скорость. Скорость движения нашей жизни.

Машина словно почувствовала мое настроение и стала потихоньку... Бэмс — тормозной цилиндр потек. Бэмс — стартер замолк, только рукояткой можно завести. В машине много таких «бэмсов», с их помощью удалось бы, наверное, отказаться от зрящих поездок, но Сысоев с его мозговой системой...

Р-раз — и сделал. Другие радуются, что у меня свой механик, а я... «Машина-машина, — шепчу я, — загадай-ка шурину такую загадку, чтоб он вовек не разгадал». И что Вы думаете: загадала. Не знаю, как другие, но этот «Запорожец» был выпущен с загадкой.

Выезжаю как-то с пляжа. Впереди крутой подъем. Обычно все взрослые садятся (четверо) и все дети (без счета). Посреди горы встаем: не тянет. Приходится вылезать. А раньше тянул. Смотрю, шурина заело. «Вот и хорошо, — думаю, — пусть помучается. Мне на пляж, по крайней мере, не надо ездить».

Женщины не согласились. Понукаемый ими, я — в городе, на станции техобслуживания. «Запорожцев» там! Целое стадо перед воротами и такое же внутри. Механики в мыле, бригадир, честное слово, сумасшедший. Инвалиды довели. Такие, как я, с клюшками. Они там главные. Ходят, тычат этими клюшками, кричат. Незаметно и я увлекся. Спасение пришло, как всегда, с неожиданной стороны: оказывается, нужно знать, что с машиной, какую деталь менять. Иначе здесь разговаривать не хотят.

— Не тянет, говоришь? — взвился бригадир. — Тогда возьми кувалду и бей по нему до тех пор, пока не потянет!

Счастливый, воротился назад. Доложил своим: так и так. И полгода, тов. Мыльников, не прикасался к «вареному раку». Целых полгода! Женщины от моего имени жалобы пишут, шурин в коровнике слушает мотор, а я в мансарде книжки читаю. Благодать!

Но всему приходит конец. Так и здесь: догадался-таки шурин! Прибегает ко мне, уже по снегу, с глазами, точь-вточь как у бригадира со станции. Бухает на стол два поршня и просит отличить. Смотрел я, смотрел... Абсолютно одинаковые.

— Е-мое, — кричит шурин, — вот же: один с пазом, а другой?

— ... и правда, — замечаю.

— А должен быть!

Не дай Вам бог, тов. Мыльников, так подзалететь. Ведь что подсунули? Даже до меня дошло. Поршень, идя вверх, увлекает за собой масло. А куда деваться маслу, когда поршень — вниз? Придумали: оно проваливается внутрь. Поршня. Через паз. Если паз есть. А если его нет? Кто-то может засмеяться: «Как это нет?» А так: забыли пропилить. И вот мой шурин догадался, что забыли. Надо же, какая башка у него. Вскрыл двигатель и пропилил.

На радостях решили с ним прокатиться. Мотор не узнать: чуть придавил железку — рвет. Едем и смеемся. Впереди «Москвич». «Делай!» — кричит шурин как само собой разумеющееся. И я «делаю» этого столичного слабака!..

И вот висим с шурином головами вниз; машина в кювете.

— Зачем ты руль-то схватил? — говорю я, чуть не плача.

— А ты зачем отпустил? — оправдывается шурин.

— Потому что возникла ненужная борьба! — кричу я.

Отстегнулись. Вылезаем через дыру, обозначающую переднее стекло. Оно целое, лежит на снегу. Шурин останавливает крутящееся колесо, а я ищу пряжку от пояса. Надо бы машину переворачивать, а мы, видать, ошарашены, не поймем, что с нами.

Поехали назад, вернее, поползли. Дорога скользкая: заметили наконец-то. Кузов помят, но терпимо. Стекло приладили кое-как, но все равно холодно. Стучим зубами.

— Врубай! — командует шурин.

Врубил я печку, но у столовой все равно остановились, погреться. Я — чаём, а шурин... кофеем. Сидим, приходим в себя, вдруг с улицы крики, вой пожарной сирены... Шурин в окно: «Чей-то «Запорожец» горит...» И опять сидим. «Свояк, — дотрагивается он до меня, — а ты печку выключил?»

Фраза эта, тов. Мыльников, стала крылатой в поселке. Ее приберегают на конец анекдота про сгоревший «Запорожец». Слава богу, никто не знает, как мы перевернулись, а то насмешек было бы еще больше. Тоська сказала, что нового «Запорожца» нам теперь не видать как своих ушей, но инспектор, составлявший акт, возразил: «Почему? Через семь лет, как положено».

Я обрадовался вдвойне. Во-первых, у наших женщин не отняли надежду, а во-вторых... Не надо шины накачивать, уровень масла замерять, с канистрой на дорогу бегать. Хорошо-то как, тов. Мыльников, Вы даже не представляете!

Замучил я Вас своим повествованием, поэтому накоротке прощаюсь, всего доброго Вам и Литературе, Лаптев.

Письмо седьмое.

Это называется «выстрел в сердце», тов. Мыльников. Вы предложили мне написать о шурине. Разрозненные эпизоды связать единым сюжетом и т.д. Да Вы представляете, что будет, если я даже осилю? Хуже, чем Иван Иваныч поссорился с Иваном Никифорычем. Мое предприятие против меня же и обернется. Не только потеряю своего друга-шурина, но и сокращу (сократю) жизнь себе и ему. Чудачества его в

нашей среде известны, но столь же противоестественно описывать их человеком из этой среды. Поэтому милости прошу к нашему шалашу. Приезжайте и описывайте. Никому обидно не будет. В литературной оснастке, я так думаю, выйдет даже малоизвестное.

Тов. Мильников, один глаз у меня заплыл, а другим еле вижу. Не знаю, как и на дежурство пойду. Шурин бежал до реки и только под водой скрылся от них. Вы догадались, от кого. От пчел. Какие-то нервные попались. К сотам не подпускают. Может, с Вами попробуем? Заодно расскажу, как мы с шурином на дельтаплане летали. Оказывается, его легко построить. Но трудно выверить. То боком летит, то на спину норовит опрокинуться. А в последний раз шурин сорвался в пике. И до сих пор из него не выходит. Ищет формулу неудачи. Лежа на сене с забинтованным носом. Там его и найдете.

Заодно приготовьтесь к вопросу: есть ли в Америке бани? Шурин мне с этими банями надоел. Откуда я знаю, есть там бани или нет, с шайками они или без. Сам бы хотел знать.

С нетерпением ожидающий нашу Литературу в Вашем высоком лице, Лаптев Иван Михайлов.

Письмо восьмое, последнее

Вася, ну а теперь шутки в сторону. Ты отфутболил четыре моих рассказа, те, что были заявлены в номер. Я знаю, ты гонялся за ними на мою квартиру, потом в писательский дом отдыха, в то время как они лежали на твоем столе. До Комарова я не доехал (автобус сломался, и пока его чинили, был очарован двумя подошедшими мужичками). Наблюдая за ними, за тем, как они помогали шоферу, как переговаривались между собой, я понял, что в Комарове мне делать нечего. Короче, автобус уехал, а я остался.

Вася, не знаю, как это получилось. Первооснова жизни ли взыграла или что другое, но я, будучи в отличном расположении духа, отправил тебе рассказы под псевдонимом. Выжму, думаю, улыбку из старика. И что же, Вася: ты не узнал меня, не узнал, понимаешь? Господи, как только ни намекал я тебе, что я — это я, ты в ответ — ни гу-гу. Из тех двенадцати книжек, что я тебе подписал, брал ли ты в

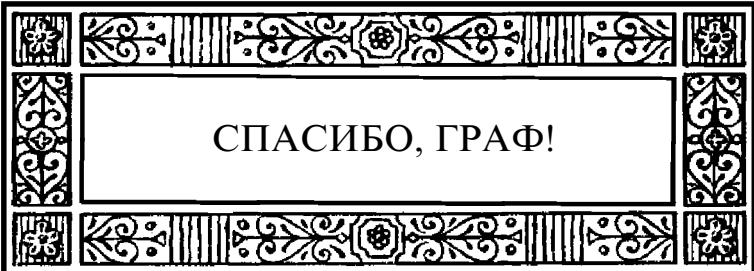
руки хоть одну? Хоть бы почерк сравнил, дурья голова. Чувствую, как писателя ты меня совершенно не знаешь, а ведь мы с тобой в одной упряжке двадцать лет. Не кажется ли тебе, Василий, что из писателя ты превратился в функционера. Не кажется ли тебе, Василий, что президиумы, конъяк и ту бабенку (ты знаешь) надо бросить, а говорящего писателя переосмыслить. Ты не читаешь и не пишешь, а только говоришь. Говорящий писатель — есть ли нелепее фигура! В некотором роде, Васенька, ты шурин Сысоев, то есть не лишенный таланта, но несуразный и бесполезный человек, от которого одни неприятности.

Вась, ну а если ты читал? Мои рассказы. Если ты их читал и ответил мне по совести? Пусть суконным языком, но так, как думал? Что тогда? Выходит, за эти годы я не вырос и выдаю такую же серягину, как в молодости, когда меня чихвостили на собраниях и в печати? Выходит, шурин Сысоев не ты, а я? Я пробивной, это главное мое качество, глотку, как ты знаешь, перегрызу любому, кто встанет на пути, но и вокруг толкаются не хуже. Целый полк толкается. А ты что: не толкался? тебя не жрали? Да если б мы с тобой не объединились, быть бы нам швейцарами в литературном кафе. Всю жизнь я слышал: уступи дорогу таланту, уступи дорогу... Где они, таланты? В наше время их не печатали. Я не держал в руках ни одной талантливой рукописи. Может, сейчас появились? С богом, я ничего не имею против. Талант — редкость, его надо пускать без очереди. Но после таланта, извините, никому спуску не дам, после таланта я — первый.

Вась, у меня виды на будущее неплохие: избранное выходит, трехтомник, надеюсь, дотолкаю. Но один показатель нам нужно выяснить с глазу на глаз: кто из нас Сысоев? Врать друг другу не придется.

Твой Л.

1986.



СПАСИБО, ГРАФ!

Опять я на реке! Обычно иду сюда неторопливо, настраиваясь на разговоры с жизнью, пристально рассматривая знакомые живые картины, среди которых деревья, обрывы, кручи, рябь воды, волны песка, камнепады, не насыщаясь этим ни зрительно, ни памятно, а лишь уставая, а нынче — прибежал! Прибежал, запыхавшись, забыв о велосипеде, на котором быстрее бы доехал.

Вот она, разгадка, томившая меня столько лет! Таких дней выпадает в жизни мало, но вот выпал, выпал. «Ах, выпал, выпал, выпал», — скажу я на одной ноге. До чего ж здорово! Состояние, близкое к опьянению.

Наконец, мост. Мост этот до сих пор сохранил свое название: Графский. И вот какая штука: я узнал фамилию графа. В этом разгадка. До обидного просто и даже скучно, но...

Человек этот в душе вовсе не был графом. Своим титулом он тяготился, а состояния у него, как такового, не было. Конечно, он не думал о куске хлеба, но тот хлеб, который ел, он зарабатывал упорным литературным трудом. Да, этот человек был поэтом, и имя его осталось в ряду славных литературных имен России. Да что там осталось: включишь радио — на его стихи исполняются романсы и песни, а драматическая трилогия идет в театрах Москвы. Дай бог, как говорится, каждому такая судьба. Но он был графом и этим отпугивал! Моя прабабушка по материнской линии знала его как владельца роскошного имения на высоком берегу Тосны (реки, впадающей в Неву) и окружавшего это имение громадного парка, который у меня сейчас на виду. А еще, ока-

зывается, в нашем роду (скорее, легенда) был какой-то мушкетер, служивший на графской конюшне и возивший со станции господ. Вот до чего я дожил!

Воспитанный с предубеждением ко всякого рода «графам», я эти разговоры слушал в пол-уха, и дальше попыток узнать имя графа дело не шло. Имя забылось... Ну и ... пусты. Пусть ему будет хуже! Граф все-таки, что с такого взять? Не на свои мосты строил. Я, помню, даже собственную версию выдвинул: Гравский. А что: по этому мосту только и знай возили гравий...

Но вот мама, добрая моя подвижница, подает мне брошюру о геологическом строении почвы Ленинградской области, и в ней черным по белому... кого возил кучер Кирилл (как потом окажется) со станции. Тут и подготовленного может удар хватить... Поскольку граф был писателем, то он и приглашал сюда писателей, и летний этот дворец возвел (так я вначале подумал) для общения с ними. Читаю фамилии приезжавших в местечко под названием Пустынька. Не верится. Не может быть. Голова кругом.

Тургенев.

Гончаров.

Некрасов.

Как тут не сорваться и не побежать! Ума хватило заскочить в поселковую библиотеку. И там меня ждал сюрприз: письма графа из Пустыньки. И всё в один день!



Если бы не исхоженная мною на протяжении многих лет дорога от станции до графского дома и не излазанные кручи вблизи него, я бы не волновался. Но все это мое. С закрытыми глазами могу пробежать дорогу туда и обратно, точно так же подняться кратчайшим путем в усадьбу. Немногим более ста лет этот путь проделывали, и кто?! Вот тебе и глухие наши места, и незнаменитые. Да мне этого хватит, как говорится, на всю оставшуюся...

Эх, узнать бы пораньше! Впрочем, предчувствие открытия жило во мне. Бросая взгляд с берега на берег, я всякий раз спрашивал себя: откуда на правом громадные деревья? По двести лет им, не меньше. Липы, тополя. Поредевшие, они по-прежнему сохраняют контуры парка. По реке ни вверх, ни вниз подобного нет. Деревья посажены рукой человека. Уже тогда можно было предположить следы былой, величественной некогда здесь жизни, но не хватало воображения. Глаз натыкался на одиноко стоящую посреди парка избушку, и поскольку везде строили такие избушки, ее появление в первый послевоенный год казалось естественным. Разве только нелогичным стало ее сочетание с вековыми деревьями, но оно и по сей день нелогично. Недостает большого белокаменного дома с колоннами, и даже не верится, что он стоял, возвышаясь над низкорослым (тогда) парком, сближая берега, впечатляя всех, кто его видел. Но дом-дворец описан в стихотворении графа, вот, пожалуйста:

Стоит опустелый над сонным прудом,
Где ивы поникли главой,
На славу Растреллием строенный дом...

«Сгинь, лукавый, — промолвила бы моя мама. — Неужто сам Растрелли руку приложил?» Тот самый. Знаменитый Бартоломео, который в Петербурге настроил так много всего, в том числе Зимний дворец, — за что русские и прозвали его Варфоломеем. Но то... Да, то петровские времена. Значит, граф-поэт никакого участия в строительстве дома не принимал, он ему достался в наследство. Да, так.

И герб на щите вековой, —

сообщает он в стихотворении. Уже тогда, в середине прошлого века, дому было сто лет. Перечитав стихотворение, я убедился в этом. Оно о рассыпавшихся по белу свету потомках, забывших свой доблестный род. Грустное. «На окнах разбитых играет луна...»

Не знаю, как лучше: прорваться сквозь кустарник, перейти реку вброд и, поднявшись по круче, оказаться в парке или... Пожалуй, пойду в обход, писательской дорогой. Даже не верится, что Гончаров смотрел на эти диковатые, но красивые места и при виде дома уже не проклинал дорогу, а предвкушал стакан горячего чаю и беседу с добреим членом. Наверное, он покидал экипаж, потому что под ногами такая крутизна, что лучше довериться ногам. Да, он сходил, наблюдая, как кучер закладывает по палке в оба передних колеса и еще вожжами сдерживает лошадь, которую тянет вниз. И в первые минуты по приезде говорил о своих дорожных впечатлениях, об испытанном страхе и опытном кучере. А граф отшучивался, радуясь гостю, поскольку сам только что проехал этой дорогой.

Правый берег. Иду низом. Хорошо-то как, господи! Северная земля, до поры до времени скрывающая свои красоты, здесь более чем щедро раскрывает их. Насколько хватает глаз видна долина реки; некогда полноводная, а сейчас весьма скромная река Тосна проделала за миллионы лет громадную работу, и именно она, работа, восхищает. Вода искала и до сих пор ищет кратчайшие пути к устью, и потому крутые берега чередуются с пологими и террасообразными, обнажая то камень, то глину, то песок, а знаменитые ледниковые валуны осели на дне. Долина большая, и в ней много воздуха. Хочется вдыхать его без конца. Глаз тоже не может насытиться независимо от того, скакет он или стоит на месте. И так — и так хорошо. Хочется быть здесь возможно дольше, а еще лучше — оставаться. Никуда не уезжать. Краски непрятательные, но обильные: береговая зелень, свинцовая полоска воды под высокой крышей перистого неба, там и сям выходы голубой глины вперемежку с рыжими крапинами железистых ключей и, наконец, всплеск красоты — желтая, с красными прожилками пятидесятиметровая обрывистая стена на противоположном берегу. Она прямо перед тобой, завораживает. Кажется, протяни руку — и дотронешься до теплой, нагретой солнцем поверхности. Она всегда теплая, эта стена, таково свойство излучаемого ею света. Даже геологи описали ее в своей брошюре, но первым оценил петровский предок нашего графа, кто-то из приближенных Петра I (уж не министр ли иностранных дел Петр Андреевич?). Стоя здесь и мысленно предвосхищая будущую постройку, он нетерпеливо рукою повелел ее возвести.

Там в рамках узорчатых чинно висит
Напудренных прадедов ряд...

«А ведь тогда пещер не было», — осеняет меня. Сейчас они прямо в стене. Их две. Кажется, я догадываюсь об их происхождении. Тот, кто берется описывать наши места, эти пещеры называет рукотворными, правильно. А почему? Для какой надобности их вырыли?

Я — у стены. Всматриваюсь. Вожу рукой. Мелкий, до каменной прочности слежавшийся песок, некогда дно очень древнего моря. Прекрасный строительный материал, тем более есть глина по берегам. И пошло: дом, амбары, конюшня, флигели... Постройки эти (кроме дома, сгоревшего в начале века) просуществовали до 1941 года. Значит, пещеры появились одновременно с началом строительства? Видимо, да. Поначалу это были штолни. Легко проследить путь песка, здесь он кратчайший: достаточно сверху спустить веревку с ведром...

Растрепли не столько любовался здесь красотами, сколько прочностью первого обожженного кирпича.

И тогда начали обжигать в достаточном количестве.

Кто же тут работал? Это уж я точно знаю: мои земляки-предки. Крестьяне близлежащей деревеньки Плитная Ломка, в которой я (через двести лет) родился. Деревенька с таким причудливым, но точным названием — ровесница Петербурга. Сюда, на берег Тосны, были вывезены из Подмосковья несколько семей: Серчугины, Сысоевы, Юловы, Лямины (перечисляю фамилии, но как таковых у крестьян не было, скорей, они появились на новом месте из кличек)... Для чего? Специально для постройки особняка, а потом — его обслуживания. Самых крепких мужиков вывезли. Иначе и не могло быть: их ждал бутовый камень. Его добывали поначалу для графского дома, а когда он вместе с другими службами был возведен, — для Петербурга. Владелец поместья увидел выгоду в том, чтобы не только лес сплавлять по реке, но и камень. Работа затягивала — мужики расстались с мыслью о возвращении в свою деревню. Так начиналась здесь жизнь...

Идеально ровные, сработанные природой плиты — вот что такое бутовый камень. Выходы этих плит на изломах реки и сейчас видны, а тогда их просто собирали, ну и, конечно, ломали до удобных к переноске размеров. Та еще работенка. Зато фундамент из таких плит или кладка — на сотни лет. Теперь понятна крепость старых петербургских построек.

Мужикам моим тugo пришлось. Животы они положили здесь. Что у них было, кроме кирок да лопат (хорошо бы — лошаденки)? Но и этим нехитрым инструментом срезали по

диагонали два крутых береговых склона, довели полотно до воды, возвели мост... Годы беспрерывного труда. Разве что на зиму замирало дело. Одновременно приходилось выполнять крестьянские работы, чтобы прокормиться. Непосредственно кладку дома и наружную отделку вели небось питерские каменщики, но подай, приготовь, поднеси — это мои земляки. Работящие, безотказные, с чувством юмора. О таких качествах мне легко судить: они и по сей день никуда не делись.

Чем же отблагодарил петровский министр своих крестьян? Он «разрешил» им построить церковь в Плитной Ломке и место указал, где. Так, чтобы крестьяне подходили к ней с одного конца, а он — с другого. Не смешивались чтоб. И они не смешивались. С постройкой церкви деревня превратилась в село, и, видимо, это совпало с каким-то религиозным праздником, потому что церковь стала называться Никольской. А потом — и село. Жаль. Село Никольское — все равно что фамилия Иванов. Этих Никольских по всей Руси расплодилось великое множество, а Плитная Ломка была одна, да и ту церковники похерили...

* * *

Моя мать из рода первых колонистов на Тосне, но в ее роду сведений о возведении усадьбы не сохранилось. Только о том, что каждую весну к приезду графа подновляли мост, а иногда и строили заново, если старый уносила вода. Мать больше говорит о связи села и усадьбы. Ходили сюда кто с жалобой, кто с просьбой. «Не думаю, — пишет граф, — чтобы я мог быть хорошим сельским хозяином, сомневаюсь, чтобы я сумел поднять ценность имения, но мне кажется, я мог бы иметь хорошее влияние нравственное на моих крестьян — быть по отношению к ним справедливым...» Живет легенда о вкопанном в землю большом столе, за которым обучали грамоте. Не занимался ли этим «прекраснейший и благороднейший малый» (по словам Тургенева)? Вряд ли крестьяне знали, что он был писателем, но хорошего человека от плохого они могли отличить. Вот еще одна версия того, что мост называют Графским. Название это со старого, деревянного, которого давно нет, перешло на новый, железобетонный, что в ста метрах ниже по течению. Не память ли это о человеке, отпустившем своих крестьян на волю?

Неудержимо тянет в усадьбу. Ведь в деревянной избушке, стоящей посередине парка, кто-то живет. Около сорока лет

она у меня перед глазами, но только сегодня я отважился туда пойти. До этого просто повода не было.

Вступаю на нижнюю террасу. От волнения не слышу шелеста листьев, но вижу, как они полощутся на ветру. Высокие липы шелестят надо мной. Вид отсюда более чем прекрасен: река и заречье на многие километры. Для искушенного сердца подходит, а для непрятательного — просто рай. Хорошо видна дорога и любое движение по ней. Упоительная красота: ее можно пить, не насыщаясь, но и не пресыщаешься никогда. И воздух верхний — тугой, полевой. Запахи реки остались внизу.

Почему-то иду в сторону от домика, к пруду, на льду которого мы играли в детстве в хоккей. Не настроился. Начало зимы мы проводили здесь: река когда еще встанет, а пруд готов. Пруд все такой же, прямоугольной формы, но это не тот, что описан в стихотворении. Того я в глаза не видел и не предполагал, что он имеется. А он круглый, с островком посередине, вот он!

Расхаживаю перед окнами с ощущением первооткрывателя. Пруд в самом деле круглый. Ивы... Господи, они сохранились. Правда, подсажены и другие деревья. Меня догоняет то легкое, бесшабашное настроение, испортить которое никто не может. Прилив сил, я на волне, готов плыть.

Дрожит занавеска. Меня замечают. Кажется, собаки нет. Я их не люблю в том смысле, что собака не понимает, хороший или плохой человек, а — свой или чужой, но в том-то и дело, я здесь свой! Открывается дверь, и я вижу на веранде старушку с костылем и палкой. Она застывает на пороге вовсе не для того, чтобы я ее рассмотрел, а чтобы догадался подать руку. Все-таки несколько секунд изучаем друг друга. Успеваю заметить повязанный белый платок, цветастый фартук и обмотанные шерстяными шарфами до самых галош ревматические ноги. Взгляд настороженный, но не тяжелый. Подаю руку и вижу, как теплеют глаза. Кажется, принят. Одолеваем несколько ступенек. Рука у старушки покрестьянски сильная. По направлению нашего совместного движения догадываюсь, что надо сесть на скамейку под яблоней. Но эти десять шагов кажутся неимоверно длинными.

— Простите, ваш дом на готовом фундаменте стоит, не так ли? — не выдерживаю.

— Так, милок, так, — соглашается старушка.

— А знаете, кто здесь жил?

— Как не знать, — старушка несколько отстраняется от меня, — граф Алексей Константинович Толстой.

— Браво! — хлопаю я в ладоши. — Браво. Как вас по батюшке?

— Гололобова. Анастасия Тихоновна.

— Браво, Анастасия Тихоновна! Вы даже не представляете, как я хотел это услышать. Он был поэтом.

— После войны никольские ревновали меня к этому месту. — Анастасия Тихоновна садится на скамейку, и я радуюсь, что принят окончательно. — Наведывались в парк по воскресеньям, от них я и узнала о графе. А нам с мужем негде было приткнуться, вот и построились здесь. Позже студенты стали приезжать. По одному, по двое, а то и группой. Они и сказали, что граф писал книги. Теперь каждое лето жду.

— Ага, народ заходит?

— Заходит. Еще два раза солидные люди приезжали. Замеряли, прикидывали, как тут все восстановить. Но я их пугала неразорвавшейся гранатой в подвале, и они уезжали.

— Гранатой?

Невольный, облегчающий душу смех вырывается из моей груди. Не могу остановиться, хохочу. Несколько яблок падают в саду.

— Гранатой?

— Гранатой.

На лице Анастасии Тихоновны возникает натруженная улыбка.

— Боялась я тогда за семью, а сейчас... Муж помер, сын отделился, могла бы сторожем... здесь.

— Зачем сторожем? — возражаю я. — Вы ангел-хранитель. Без малого сорок лет сберегали деревья, пруды. А представляете, что б уцелело, не будь вас? Ангелом-хранителем и останетесь.

Поймав недоверчивый взгляд Анастасии Тихоновны, продолжаю:

— О писателе могут рассказать другие; в конце концов, об этом можно прочесть. А вы — о том, как тут жили. Разве этого мало? Каким был, кстати, пруд в сорок шестом году?

— Старались ничего не трогать, — начинает свой рассказ псковская крестьянка Анастасия Тихоновна Гололобова и неожиданно смолкает... Я отвожу глаза. Война, тяжесть оккупации... Нахлынуло, вспомнилось. Больные ревматические ноги — оттуда, из сорок второго года. — Думала, не выживу, — говорит Анастасия Тихоновна.

Я молчу. Мне стыдно. Я не знал... Не знал, что за помощь партизанам немцы посадили ее в холодную камеру и хотели расстрелять, но партизаны не дали. Было это в Новоржеве.

Родной дом ее сгорел, и потому с мужем подались сюда. Работали в совхозе, на земле которого стоит дом. Сейчас Анастасия Тихоновна на пенсии, и совхоз в благодарность за ее работу подвел ей воду, хотя это неблизко.

— А раньше где вы брали ее? — спрашиваю я, предвидя, что из реки.

— Где и Толстые.

Во мне просыпается дотошный экскурсант, голод которого известен: ему надо посмотреть, пощупать, щелкнуть камерой, а то и унести на память, что плохо лежит. Целый ключ, холодная, наверняка отдающая железом вода! Много я знаю тут ключей, но толстовский мне неизвестен. Анастасия Тихоновна объясняет, как отыскать его на обрывистом склоне реки: затененный деревьями, общий досками омуток. Левее тропы, по которой я поднимался.

Бегу. Какой здесь, однако, воздух, как легко дышится! Анастасия Тихоновна сказала, рядом, я ищу и не нахожу. Потом соображаю, что рядом — для того, кто много лет ходил по воду, а мне надо еще пройти. Тропа уводит все дальше и дальше от дома. Изрядно побегав, попрыгав, наконец, нахожу. Боже: единственное место в усадьбе, оставшееся нетронутым! В крутом спуске — подковой ровная площадка и в ней старый-престарый сруб с голубоватой водой. Снимаю два плавающих сверху листа, наклоняюсь и пью. Счастлив: причастился. Железом не отдает. Просто вкусная вода. Жаль, нет моих друзей, с которыми изъездил-исходил есенинские, пушкинские, блоковские места... Они бы весь колодец выпили от радости. Больше двухсот лет ему, и никто эту жемчужину не видит, кроме меня. Удивительно нежное место.

Пока ходил, Анастасия Тихоновна наколотила палкой антоновки, разложила на скамейке и сидит, дожидается. Вся груда мне. Как угодно, но я должен ее унести. Иначе она меня не отпустит.

— В этом пруду, — вспоминает она мой вопрос, — было много карасей. Бывало, есть нечего, скажешь мужу: «Пойди попроси у графа рыбки». Он выйдет и ведром начерпает. И мы сыты целый день. А как мужа схоронила, рыба исчезла, и пруд засыхал.

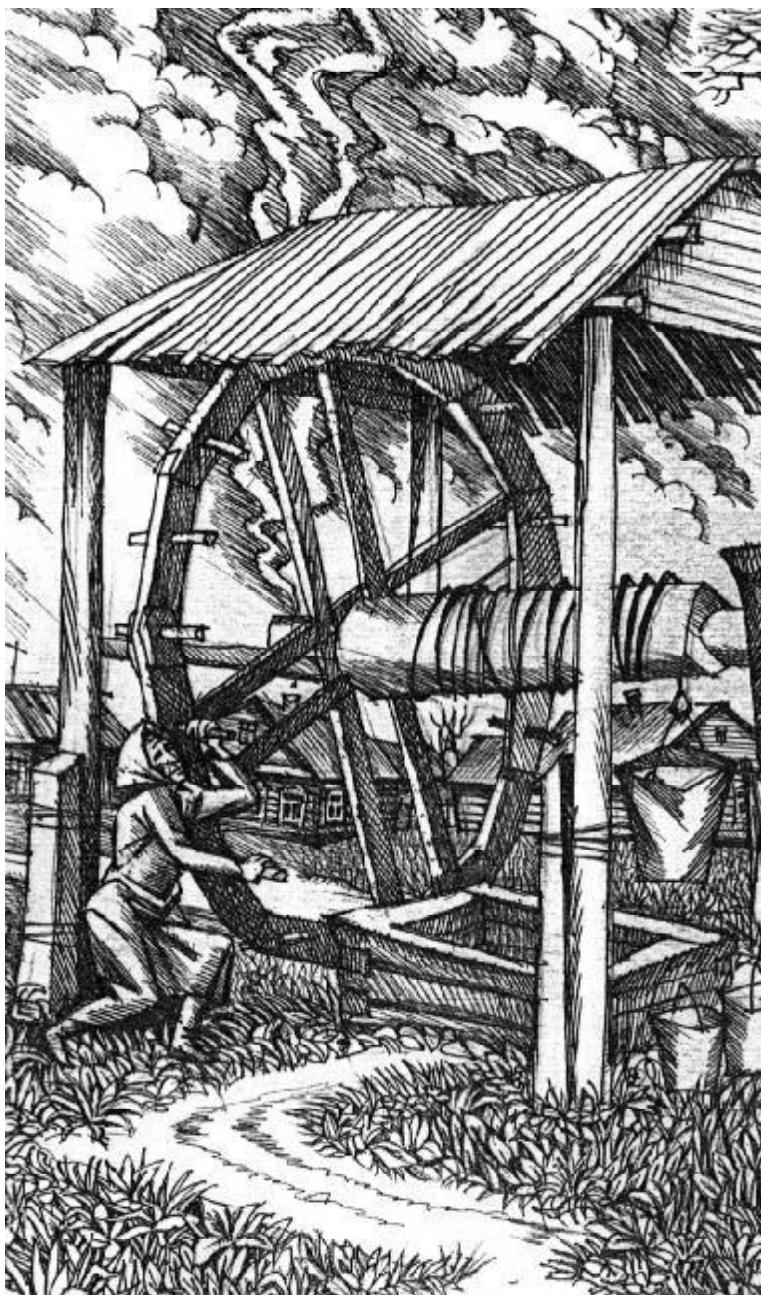
— Ивы росли у воды?

— С одной стороны. А с другой — я попросила сына, и он подсадил вон там, видите?

Вижу: две акации, два клена, два дубка и две березки.

— Жаль, пруд хвощом зарос.

— Очень красивый был пруд. Белым песочком обрамлен, с островком посередине и мосточком к нему. На острове, говорят, стояла беседка, но мы ее не застали.



— Велик ли был графский дом? Может, фундамент сохранился? — выпаливаю я в нетерпении.

— Не дом, а домина. Мы только краюшку заняли да слева огород разбили, а фундамент уходит к реке и вправо, я до сих пор камни нахожу.

И Анастасия Тихоновна показывает мне на груду камней в огороде, на которую я поначалу не обратил внимания. Подхожу... Бутовые плиты со следами давней-предавней известки, я их мгновенно узнаю. Они снизу, с реки. И еще кирпичи. В изломах необыкновенно красного, алого цвета. Отщепляю маленький кусочек и зажимаю в ладони. Растреляевский кирпич. Никто мне не поверит, но это так. Работа моих предков.

Анастасия Тихоновна, пока я переживаю несомненную удачу, говорит о выходах фундамента за прямоугольным прудом, где стояли некогда конюшни и амбары. Там этих «реликвий» еще больше, буду спотыкаться на каждом шагу, если вздумаю пойти. Слушаю ее рассеянно.

— А вы знаете что-нибудь о Толстом? Ну хотя бы как он тут жил, с кем? Кто у него бывал?

По лицу Анастасии Тихоновны вижу, что не знает, но готова слушать. Я начинаю... Толстой увидел на одной из петербургских балов женщину, которая поразила его не только внешней, но и безошибочно угаданной им внутренней красотой («средь шумного бала, случайно...»). Признался ей в любви, она ответила. Женщина эта, Софья Андреевна Бахметева, до встречи с Толстым пережила два неудачных романа, первый с каким-то князем, в результате которого один из ее братьев был убит на дуэли (очевидно, вступился за честь сестры), а второй — с конногвардейским полковником Миллером, женою которого она в этот момент, к несчастью, была. Много лет ушло, прежде чем они соединили свои судьбы (тогда это было непросто). Петербург по поводу их сплетничал и злословил, появление их вместе считалось вызовом. «Даже в самые лучшие минуты, — вспоминает Толстой, — те, когда мы находились вместе, тебя волновали какая-нибудь неотвязная забота, какое-нибудь предчувствие, какое-нибудь опасение». Требовался отдых душе, и в шестидесятые годы прошлого века они уединялись здесь (нет более прекрасного места!), в Пустыньке. Сюда же звали и друзей.

Софья Андреевна, в самом деле, была незаурядной женщиной. Об этом можно судить по нескольким письмам к ней Тургенева. Знаток женской души, Тургенев ценил ее доброту, сердечность и несомненный литературный вкус, присыпал на отзыв свои вещи до напечатания. После того как за публи-

кацию статьи о Гоголе Тургенев «по высочайшему повелению» был посажен на «съезжую», единственный, кто вступился за него, — Алексей Константинович Толстой. Используя все свои связи, он добился освобождения Тургенева. Того сослали в собственное имение, не разрешив никуда отлучаться, но и эту проблему Толстой помог решить. Вот как зазывал он его 30 мая 1862 года. Прежде всего на это письмо я наткнулся в библиотеке.

«Иван Сергеевич!

Стыдно будет, если не заедете в Пустыньку. Ведь это ровно ничего не значит: стоит только Вам взять билет до Саблина (вторая станция от Петербурга), Вы приедете в 1 час пополудни, а на другой день можете выехать в Москву опять-таки в 1 час пополудни, а здесь много хорошего, а именно: рвы, потоки, зелень, комнаты с привидениями, хроники, старая мебель, садовник с необыкновенно крикливым голосом, древнее оружие, простокваша, шахматы, Иван-чай, мисс Фрезер, купальня, ландыши, старые, очень подержанные драги...» Конец письма такой: «Завтра же будет ожидать Вас на ст. Саблино бон-вояж, и начиная с завтрашнего дня этот бон-вояж будет ежедневно ездить на ст. Саблино... Ужели Вы подвергнете этой пытке кучера Кирилу, давно отпущенного на волю?»

Разве мог устоять Тургенев перед столь редкой сердечностью?

Не знаю, как бывал Гончаров. Он ради заработка вынужден был служить цензором. Толстому тоже не нравилась служба... Оба настолько серьезно относились к литературному труду, что несколько лет работали «в стол», никому ничего не показывая. Короче, у них отыскались точки для сближения, а прекрасный дедовский дом в совершеннейшей глушви...

Некрасов побывал в Пустыньке как редактор «Современника». По-другому невозможно объяснить. К сотрудничеству в журнале он привлек многих. Многих и разных. По приезде больше говорил о журнальных делах, нежели о литературных — молод, но умен был. Где-то внутренне посмеивался над служителями чистого искусства, окружавшими графа, да и его самого, возможно, причисляя к ним, но вслух — спаси и сохрани! «Некрасов просил у меня стихотворений», — сообщает Толстой жене.

Самого Толстого легко увидеть сходящим с поезда на станции Саблино с двоюродными братьями Жемчужниковыми, Алексеем и Владимиром. Не только родственные отношения связывали их. Эта троица «породила» удивитель-

ногого Козьму Пруткова. Жемчужниковые были наиболее частыми гостями в доме, свои, можно сказать, люди. И кто знает, не наблюдения ли за окрестными мужиками ну если не легли в основу Козьмы, то хотя бы способствовали появлению отдельных его афоризмов? Здешнему народу палец в рот...

Анастасия Тихоновна молчит, утомленная обилем названных мною фамилий. А вдруг придется запомнить? Как никак место, в котором она живет, обязывает... А я все еду со спутниками Толстого от Саблина до Пустыньки, смотрю их глазами на однообразный подлесок, заболоченные низины... Через сто лет дорога эта сплошь обставится домами, поселками, в них вырастут люди и заинтересуются некогда шумевшей здесь жизнью. Прекрасной она им покажется, эта жизнь...

Настало время моей домашней заготовки. Она вернет настроение моей хозяйке — так мысленно называю Анастасию Тихоновну. И я уйду с легким сердцем. Говорю ей, что в идеале это место надо бы сделать заповедным: восстановить дом, превратив его в музей, облагородить пруд, питьевой источник и тому подобное, чтобы люди могли ощутить здесь в реалиях, но это потребует средств, это нескоро, это когда еще будет, а пока... Вынимаю из-под ремня толстую тетрадку. Все листы в ней чисты. На глазах Анастасии Тихоновны делаю первую запись. Она улыбается: поняла. Узнаем, кто здесь бывает, откуда, что думают. Кратко описываю, чья усадьба, что можно посмотреть, называю имя хранительницы и торжественно передаю. Теперь от яблок не отвертесь. Они едва умещаются в белой кепке, которую я прижимаю к груди. Анастасия Тихоновна машет на прощанье.

Иду назад и думаю не о графе, даже не о поэте и драматурге, а просто о человеке, чье имя теплится здесь, Алексее Константиновиче Толстом. Цельный был человек. «Нравственно здоровый, широко образованный, рыцарски благородный, женственно нежный», — по словам Фета. Конечно, у него были свои идеалы отечества, но некоторые его поступки говорят за себя. Поехал добровольцем на Крымскую войну, и только болезнь (тиф) помешала участвовать в обороне Севастополя. Есть у него стихотворение «Сон Попова» — злая сатира на Россию того времени. Стихотворение ходило в списках, пользовалось огромной популярностью и при жизни не было напечатано. И это тот, кого называли другом царя Александра II.

Любовь, одна-единственная, выпавшая ему за всю жизнь, доставила ему столько хлопот, мучений, непонимания со стороны близких, что другой бы отступил и не полез в «грязь», но он и не думал — вытерпел, добился своего. К жене до последних дней сохранил трепетное отношение, отношение сродни открытию: «Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной, всё — лишь свет и счастье...» А из других строк можно заключить, что они были друзьями. «Наша индивидуальность, — делится Толстой, — есть нечто приобретенное нами; естественное же и изначальное наше состояние есть добро, которое едино, однородно и безраздельно».

Странно, а ведь он ходил этой тропой много лет. Встречал, провожал, а то и просто гулял. Один или с ней. «Твое легко прикосновенье, как от цветов летящий пух, как майской ночи дуновенье».

Поэт он стоящий. «Я вышел в поле без кольчуги...» Так может сказать только спокойный, сильный. Много у него прекрасных строк, даже теряешься, какую выбрать. «Душа, как озеро, прозрачна и сквозна...» Ныне живущие поэты непременно отыщут в душе затмение, однако не поспевив избавиться от него. Или: «Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений...»

А мимолетный фотографический снимок столетней давности — письмо к Тургеневу? Надолго мне его хватит. Словно увидел раннюю весну 1862 года, распускающуюся сирень, ландыши прямо в саду... Запахи готовящейся пищи во дворе... Звуки фортепьяно: Софья Андреевна репетирует перед приездом Тургенева. Толстой слушает, стоя у окна в своем кабинете, посматривая на дорогу: в два часа пополудни должен показаться возок с дорогим гостем. Река полноводна, но не страшна. Проедут... Скорей бы.

В том письме, кроме гувернантки, упоминаются еще племянник, экономка, гостищие петербургские литераторы Жемчужников и Полонский, но мое внимание, по понятным причинам, останавливается на кучере Кирилле. В каком возрасте этот мужичок из Плитной Ломки? Фамилия? Прозвище? Боюсь, мне этого не узнать никогда. Только намечает его граф, но не развертывает. Спасибо, хоть жалеет. Видимо, Кирилл раздавался: с одной стороны, приятно служить такому, как граф, а с другой — он дал ему вольную, можно уйти. Куда только? Поди семья была, хозяйство. И вот каждый день мотается Кирилл на станцию, ждет «господ». До-

рогой Кирилл! Умел ли ты писать, читать? Хоть бы зарубку какую о себе оставил. На графа, видишь, надежды мало.

Да, маловато мой Толстой рассказал о конкретном простом люде. Графское помешало. Жизнь царей знал лучше. Но я не в обиде. Я понимаю. Писать надо о том, что знаешь. «Любил Пушкина?» — разговариваю я сам с собой. — «Любил». — «Презирал высший свет?» — «Презирал». — «Ну и чего тебе еще?»

В самом деле: чего? Принимаю таким, каким был. Возвышенным. Быстро уносящимся в думах. В быту непрактичным. Немного старомодным по слогу, но предельно честным, даже каким-то очень чистым. Да, чистым. Читая про его слабости, не могу сдержать улыбки. Сожалел, что не родился музыкантом. Соглашался полжизни отдать за карьеру певца.

Я же жалею о том, что не прикипел он здесь, на Тосне, хотя и ночную рыбалку любил с острогой, и рыжики привносили из леса, и охотничий шалаш обогревал в нем. Родиной считал черниговскую землю (Красный Рог), где провел детство. Туда уносился мыслью и в конце концов перебрался. Уноситься — уносился, а глаза видели, как «вдали красуются, там на дне долин, кисти ярко-красные вянущих рябин».

То же вижу и я.

1979.



Содержание

Аккордеонист	3
Фальшивая нота	13
«Мне бесконечно жаль...»	19
Артистка из народа	26
Нетронутый	39
Победил войну	49
Туба	55
Сейчас вспыхнет	67
Поселковый мэр	77
Танцы в клубе	89
Колосовики	107
Шурин Сысоев...	119
Спасибо, граф!	136

Владимир Михайлович Старателев

ТАНЦЫ В КЛУБЕ

Издания Костромской областной писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:

156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.

Костромская областная писательская
организация.Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Общее и художественное
редактирование — **М.Ф.Базанков**
Редактор — **Е.А.Разумов**
Оформление книги — по графике **А.А.Мариева**
Техническое редактирование, компьютерный
набор и оригинал-макет — **А.М.Базанков**
Корректура — **Е.А.Разумов, Н.Т.Перетягина**

Издание осуществляется при участии
городской и областной администраций.

Сдано в набор 15.10.98. Подписано в печать 21.02.99.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч.-изд.л. 10,2. Усл. п. листов 9,5. Заказ № .

Тираж экз.

Отпечатано с оригинал-макета в областной типографии
им. М.Горького управления по делам печати и массовой
информации администрации Костромской области,
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.